

МАРК ЛЬВОВСКИЙ



ФИМАИТИНА

Марк Львовский

Фимитина

«Издательские решения»

Львовский М.

Фимаитина / М. Львовский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966993-3

«Чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать», — писал Пушкин жене. Герою этой необычной книги удалось обмануть чёрта — и еврейская семья, несмотря на неподходящее место рождения, сумела пережить трудности, разрастись и даже изрядно попутешествовать, сохранив при том и души, и таланты. Это семейная сага, в которой нашлось достойное место всему: и истинным друзьям, и политическим взглядам, и криминальным сюжетам, и любовным историям. О них не догадался чёрт... Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-966993-3

© Львовский М.
© Издательские решения

Содержание

История жизни двух евреев – Фимы и Тины	6
Немного о себе, авторе	7
Вступительное слово	8
Часть первая	9
– 1 —	9
– 2 —	16
– 3 —	20
– 4 —	23
– 5 —	26
– 6 —	31
– 7 —	33
– 8 —	37
– 9 —	39
– 10 —	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Фимаитина

Марк Львовский

© Марк Львовский, 2019

ISBN 978-5-4496-6993-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

История жизни двух евреев – Фимы и Тины Повесть в двух частях

*Автор выражает свою благодарность
Лёне Кацнельсону, чьи рисунки использованы в оформлении
книги*

Авторские права принадлежат Марку Львовскому



Автор, во время интенсивной работы над книгой, при посещении винного завода в Венгрии в 2016 году.

Немного о себе, авторе

Родился в Москве, в августе 1939 года. Отец погиб на фронте в 1941 году. Мы с мамой всё время войны провели в эвакуации. Вернулись в Москву в начале 1945 года, но из нашей квартиры были изгнаны безногим инвалидом, героем Советского Союза. Четверть века мотались по квартирам родных, пока мамой не была куплена в 1970 году кооперативная квартира.

По образованию я – химик. Окончил Московский Институт тонкой химической технологии. После института работал в «почтовом ящике» – так в СССР назывались предприятия, связанные с оборонной промышленностью.

В 1971 года мы с мамой подали документы на выезд в Израиль и после более чем шестнадцатилетнего «отказа» прибыли в Израиль в 1988 году.

В том же году, благодаря стараниям друзей, устроился работать по специальности во Всеизраильский Институт Стандартов, в коем и проработал до самой пенсии.

Женат. Две дочери и шесть штук внуков.

Первая моя книжка, вышедшая в Израиле, называлась «Из отказника в оле». В ней я со всем доступным мне чувством юмора пытался описать мои приключения в «отказе».

После этого написал ещё семь книг, в частности двухтомник интервью со знаменитыми «отказниками», все издал их за свой счёт и сам же занимался их продажей. Труд тяжкий, неблагодарный и убыточный.

Книга под названием «Фимаитина», которую я имею честь предложить вам для прочтения, первый опыт написания большого произведения, нечто вроде романа, и как получилось это – судить вам, читателям...

Вступительное слово

Нет, нет, господа, это не автобиографическая повесть, это – повесть с элементами моей биографии. Я пытался убежать от себя – ничего не получилось. Но у меня совсем другая, чем в повести, жена и другие дети. Однако, многие из друзей моего героя – умеренного выпивохи Фимы – это мои друзья, живые люди (увы, иных уж нет), и я написал о них, не изменив у многих имён и фамилий.

В своё время я мечтал написать роман об «отказе», об «отказниках». Но быстро понял, что пока живы «отказники», писать о них нельзя. Взять интервью – можно и даже нужно. А писать роман, да ещё исторический, – нельзя. Ибо, пока жив человек, приходится основываться на рассказах его о самом себе или на сплетнях недоброжелателей, или на восторженных отзывах читателей, что, порой, далеко от правды, и потому приходится додумывать, выдумывать, сочинять. Невозможно познать имярека, но можно выдумать его после его кончины, взяв за основу *прототип*. Что и происходит в исторических романах.

Л. Н. Толстой начал писать роман «Война и мир» в 1865 году. Описываемая им война завершилась в 1812 году. Через пятьдесят три года появились очаровательные герои романа, из которых почти каждый имел свой *прототип*. Так появились вечные, но всё-таки выдуманные образы, и войну 1812 года знают не по историческим книгам, а по роману Толстого.

Поэтому роман об «отказе», может, и не такой художественной силы, как «Война и мир», обязательно появится, но только тогда, когда мы, «отказники», сможем прочесть его, медленно качаясь в гамаках райских кущей, восторженными возгласами отмечая появление так хорошо знакомых нам *прототипов*.

Руководствуясь вышеизложенным, в моей повести «отказники» и многие другие друзья Фимы, названы своими именами, и описаны, хотя и с любовью, но кратко, поверхностно, без каких-либо претензий на глубокое раскрытие характеров.

Что касается описываемых событий из жизни Фимы, то многие из них выдуманы; поверьте, ничего подобного со мной и членами моей семьи не приключалось.

Каюсь, в повести использовано много ранее написанных мною рассказов. Часто – слово в слово. И в этих рассказах присутствую действительно я, автор, но под именем Фима. Надеюсь, мой герой хуже от этого не стал...

С другой стороны, использование старых текстов имело, возможно, тщеславную подоплёку – а вдруг кто-то ещё не видел моих прежних книг, не успел купить, или отдал непрочитанными приятелю, а тот не вернул их...

В книге много стихов – Семён Липкин, Инна Лиснянская, Юрий Карабчиевский, Илья Рубин, Наум Басовский и... Фима, то бишь, – я, автор. Не взыщи, дорогой читатель – знаю, что нескромно помещать в книгу собственные стихи, но тебе предоставляется редкая возможность сравнить истинную поэзию с любительской. И надо оценить мужество автора, рискнувшего на такой эксперимент.

И ещё. Я не умею связно рассказывать. В самом разгаре повествования я вдруг хватаюсь за голову с криком: «Но я же главного не рассказал!» Или: «Начисто забыл рассказать о...» Или: «Но вот, что произошло до этого...» Складывать же все вспомнившиеся мне эпизоды Фиминой жизни в последовательную временную сетку показалось мне делом невыразимо скучным, и я оставил всё так, как сочинялось. Вот почему такими временными скачками изобилует эта повесть. Очень надеюсь, что прыжки в прошлое и в будущее не будут раздражать вас настолько, что вы закроете книгу и отправите её навечно на самую высокую и, несомненно, пыльную полку книжного шкафа... А уж в компьютере совсем просто: кнопка Delete и всё...

Часть первая

– 1 –

Началась наша история в мае 1986-го года. В Москве. В чудесном, прохладном мае, свежий ветерок которого с удвоенной энергией весело обдувал подданных гниющей советской империи, безмерно удивлённых нарастающими переменами их быта...

Фима не понял, кто открыл входную дверь. Сама вдруг распахнулась.

– Кто там?

– Милиция!

И в передней материализовался молодой, голубоглазый, розовощёкий, улыбающийся лейтенант милиции в новенькой форме, с сильно потёртой, полевой, видимо, ещё времён войны кожаной сумкой, державшейся на его левом боку посредством перетянутого через плечо чёрного, потрескавшегося от времени ремешка. Хорошо был виден и короткий кожаный ремешок клапана сумки, заправленный за массивную медную скобу.

Страх при виде этого воплощения здоровья и жизнерадостности вдруг отступил, ибо Фима решил, что с такой внешностью плохих вестей не приносят.

– Как себя чувствуете? – неожиданно спросил лейтенант.

Он по-хозяйски пересёк крошечную переднюю, вошёл в комнату, подошёл к столу, вытащил из-под него стул, уселся, положил сумку, не снимая с плеча ремешка, на стол и открыл её.

– Хорошо себя чувствую... А почему вы интересуетесь? Вы наш новый участковый?

– С иголочки новый! Да вы тоже садитесь! Как не интересоваться? Вы же только вчера вышли из, можно сказать, тюрьмы... Представляю, каково вам там было...

– Спасибо за участие.

– Я сам восемь суток никогда не сидел, но, думаю, для интеллигентного человека, никогда раньше законов нашей страны не нарушавшего, это было потрясением. Не так ли?

– Да, было не очень приятно... Правда, я уже во второй раз сажусь...

...*Какое счастье, что Тина уехала на рынок...*

– Интересно! Не знал, не знал... Рецидивист, значит? Шучу, шучу. А жену на рынок услали? И не стыдно? Женщину – и на рынок!

Фима опешил.

– Да она за мелочью... А откуда вы знаете, куда отправилась моя жена?

– Ефим Романович, что за глупые вы задаете вопросы? Ну, ей-богу...

Фима отчаянно покраснел.

– А дело вот у меня какое, – продолжал лейтенант бодрым голосом... – Кстати, с работы не выгнали?

– Не выгнали, товарищ лейтенант.

– Славное у вас начальство. А хотелось бы по специальности потрудиться, только честно, а?

– Кто ж меня, «отказника», возьмет по специальности? Я уж поплотничаю...

– Плотничать – это хорошо, – певуче произнёс лейтенант, внимательно вглядываясь в текст вытасченной из полевой сумки бумаги. – Плотничать – это замечательно... Да... Ефим Романович, можно я буду звать вас просто Фима?

Лейтенант широко улыбнулся, обнажив неожиданно жёлтые, неприятные зубы.

– Зовите, – сказал Фима. – А вас как звать?

– Владимир Семёнович.

– Как Высоцкого?

– Совершенно верно! Но я постоянно забываю об этом! И когда мне напоминают – воспаряю!

– Но ведь идеологически...

– Оставьте, Фима! Если бы вы знали, как необходима стране и народу талантливая, умная, тонкая, с юмором, беззлобная, никуда никого не призывающая критика партии и правительства! А теперь, Фима, ответьте мне на прямой вопрос: ну что вас, маленького, – я имею в виду рост, – не слишком, прямо скажем, отчаянного человека, объединяет с этой бесшабашной компанией матёрых «отказников»? Что?! Не их вы человек, Фима! Оставьте вы их! Другой у вас путь! Такой с ними беды на себя накличете, что век себе не простите...

От отчаянно горькой правды этих слов, у Фимы перехватило дыхание. Он молчал, ожидая, что ещё скажет этот странный лейтенант.

– Не видя бурного протеста с вашей стороны, Фима, позволю себе продолжить. Сообщаю, что если случится ещё один ваш выход с этой компанией на демонстрацию, то он окончится для вас, Фима, тюрьмой. Настоящей тюрьмой! Понятно, Фима? А для них, возможно, разрешением уехать в их Израиль. Для них! Понятно, Фима? Не для вас. Потому что у вас, Фима, режим. Секретность! Да ещё какая! У вас такая, Фима, секретность, что у меня при воспоминании о ней холодеет кожный покров на голове! А у них – всего лишь нецелесообразность или плохонькая, пустяковая секретность. Тоже существенно, но с вашим случаем несравнимо. Фима, вы не только из другой породы людей, вы из другой категории советских граждан. Если позволите, мне пришло на ум замечательное сравнение – вы, как бесценная, редкой породы домашняя собачка, прибившаяся к стае обычных, хотя и разномастных, дворняжек. Фима, я нарочито бестактен, даже груб, но я хочу воздействовать на вас. И, по моему опыту, интеллигентные уговоры-разговоры в этих случаях не только продолжительны, но и пусты.

Оглушённый этим потоком слов, Фима, красный, окаменевший, всё-таки нашёл в себе силы хрипло произнести сухими губами:

– Вы замечательный психолог, товарищ лейтенант.

Лейтенант вдруг резко перегнулся через стол, невероятно вытянул тело, приблизил своё лицо к Фиминому и, дыхнув на Фиму чем-то ещё не переваренным, жадно спросил:

– Фима, вы действительно так уж хотите уехать?

– Очень хочу.

– И за ценой не постоите?

– У меня нет таких денег...

– Фима, не лепите из себя дурочку! Какие деньги? Комитет госбезопасности нуждается в деньгах?!

– Так вы из КГБ?!

– Да, Фима, я из КГБ...

И он отпрянул от Фимы. Глаза лейтенанта вдруг позеленели. Это было так неожиданно, что Фима чуть не потерял сознание. Он чувствовал, что происходит что-то ненастоящее, бред... А щёки лейтенанта тем временем стали желтеть...

– Фима, не обращайтесь внимания на изменения в моей внешности. Это от волнения перед предстоящим. Я забыл, как называется моя болезнь, но она совершенно не влияет на мои умственные способности. Итак, вы страстно хотите уехать и не постоите за ценой, выражаемой, однако, не в рублях или, не дай бог, долларах, а в поступке. В прекрасном поступке, оправдывающим всё то скверное, что было в вашей жизни. Другими словами – в светлом поступке!

– В каком поступке? – в тихой панике, как обычно, покраснев, спросил Фима, уже догадываясь о гнусности, которую предложит ему мнимый лейтенант.

– Ну, до чего же вы открытый человек, Фима! Бесхитростный, будто ребёнок, поддерживаемый моей дружеской ладонью. Вы подумали, что я предложу вам следить за дру-

гимии? Докладывать нам о предстоящих акциях? Нет, Фима! У нас уже есть такой человек! И не один... Вы, Фима, избраны для куда более высокой миссии!

– Какой миссии? – Фима съёжился.

Лейтенант молчал. Поставил локти на стол, сжал ладонями щёки и уставился взглядом в стол. Наконец, когда молчание стало невыносимым, он отряхнулся, освободил свои щёки, посмотрел на Фиму – это был уже совсем другой человек, немолодой, грустный, усталый – и произнёс:

– На Родину, нашу с вами Родину, поработать надо, товарищ Фима.

– Что это значит? – тихо спросил Фима.

– Это значит, что вы получаете разрешение на выезд в Израиль не только с целью проживания там, но и для работы во имя, как я уже говорил, нашей с вами Родины.

– Шпионить?!

– Немножко.

– Я не хочу. И не умею. Вы же сами сказали, что я трусоват.

– Фима, именно поэтому вы будете использованы по мелочам. Кроме того, я не употреблял слова «трусоват», я сказал, что вы, Фима, не слишком отчаянный человек, не более того.

– Что это значит – «по мелочам»?

Фима почувствовал, что задав этот вопрос, он начал сдаваться. Он хотел снова заявить, что не хочет, что ему противна даже мысль об этом, но ожививший лейтенант не дал ему вымолвить ни слова. Мало того, он вдруг приподнялся над стулом и на некоторое время, не изменяя сидячего положения тела, повис в воздухе.

– Что это с вами? – чуть не задохнувшись от изумления, прошептал Фима.

– А, ерунда. Генетика... Мой дядя был воздушным акробатом.

И грохнулся на стул.

– Итак, отвечаю. Что значит «по мелочам»? Мгновенно отвечаю. Например, сообщать нам, что пишут главные местные газеты о том или ином событии...

– Сами не можете почитать?

– Фима, вы не понимаете специфики нашей деятельности. Нам нужна мгновенная информация, о чём пишут израильские газеты. А тут – купи, переправь в Москву, переведи, а переводчики с иврита на русский не только мало квалифицированы, но и чрезвычайно заняты, и надо просить начальство, и так далее, и так далее, в общем – суета. А с вами – благодать: мы вам по телефончику, что нужно, а вы нам, опять же по телефончику, что вычитали.

– И меня мгновенно засечёт израильская контрразведка. Я такое о ней слышал!

– Фима, вы думаете, что будете звонить из Израиля в КГБ? Нет, Фима, вы будете звонить «отказнику», замечательному «отказнику»! Это будет домашняя, дружеская беседа, не вызывающая никаких подозрений! С последующим отключением у этого «отказника» телефона. Обычная, привычная схема.

– А где ж я возьму столько денег на покупку всех газет?

– Опять вы о деньгах, Фима! Какая у вас крепкая национальная жилка! Да оставьте эту тему! Будут у вас деньги. Ещё и на мороженое останется.

– Каждый день переводить несколько газет?! Где ж я возьму такой иврит?!

– Мы вам дадим несколько спокойных лет на его изучение. С вашими-то способностями! По нашим сведениям, вы уже преподаёте иврит! И почему вы решили, что каждый день? Только по необходимости. Например, выступил товарищ Горбачев по той или иной теме – вам задание: реакция центральных израильских газет.

– Он каждый день выступает...

– Вот видите, мы уже ведём профессиональный спор. И это замечательно!

– Что ещё от меня потребуется? Кого-то убить? Что-то взорвать?

Фима начал обретать себя.

– Вы – и убить?! Вы – и взорвать?! Ах, Фима, если бы вы могли...

– Товарищ лейтенант, вот, я вспомнил, что однажды в детстве местная шпана подговорила нас, малолетних мальчишек, залезть в брошенную церковь, уже огороженную для предстоящего ремонта, и стащить иконы, которые, по сведениям этой шпаны, случайно остались в церкви. И мы, несмышлёныши, полезли и, конечно, быстро были перехвачены сторожем, который вызвал милицию. И знаете, товарищ лейтенант, в отделении милиции я мгновенно сдал всех, кто подговаривал нас. Всех. Я знал их по именам. Что я этим хочу сказать? Я не гожусь быть шпионом. Всех вас сдам мгновенно. Я не только физической боли боюсь, я боюсь самих вопросов!

Лейтенант задумался. Лицо его опять изменилось. Он вдруг заплакал. Потом зарыдал.

– Какой ужас! – вскричал он сквозь рыдания. – Как мы могли не знать этого эпизода из вашей биографии? Боже мой, что с нами стало?!

Он неожиданно успокоился, ловко поймал откуда—то из воздуха возникший, огромный, украшенный серпом и молотом, носовой платок и отчаянно высморкался. Успокоился.

– Но вот, что интересно: ведь полезли вы в церковь! И не поймай вас сторож, задание было бы выполнено! Значит, главное для вас, Фима, – не попасться! Вот на этом и будем строить нашу работу!

Лейтенант аккуратно вытащил из расстёгнутой сумки зелёную папку, завязанную бантиком чёрными тесёмками, нежно развязал, раскрыл папку и мурлыча «Речка движется и не движется», вытащил лежащий в ней единственный лист бумаги с отпечатанным на нём текстом. Развернул его в сторону Фимы.

– Читайте и подписывайте!

Фима внимательнейшим образом прочёл следующее: «Настоящей подписью удостоверяю, что, находясь в государстве Израиль, обязуюсь выполнять несложные поручения российской контрразведки, связанные с улучшением двусторонних отношений между Россией и Израилем. Нанимателем меня особо отмечено, что мои задания никоим образом не будут связаны с применением холодного или огнестрельного оружия, а также с удушением или избиванием какого-либо живого объекта. Речь идёт исключительно об интеллектуальной работе. Подписываю этот документ, находясь в здравом уме и памяти...

Подпись (только чёрными чернилами)...»

– Прочли? Да я с таким документом и к папуасам бы поехал!

Лейтенант блаженствовал.

– Я бы тоже, – сказал Фима и подписал. Трудно сказать, кто в это мгновение владел его рукой. И откуда вдруг авторучка?..

Все мы порой оказывались в состоянии настолько подавленной воли, настолько помутнённого разума, что совершали поступки, никак не совместимые с собственным характером, наконец, просто с элементарной логикой. Что движет нами в подобных случаях? Чаще всего – страх. Часто – усталость, бессилие, безнадежность. Или ошеломительная атака какой-то, более чем ты, сильной личности. Или захватывает тебя дух приключений, эдакий приятный холодок внизу живота: «А что, если попробовать, чёрт возьми!» Но хуже всего, когда за принятием дикого для тебя решения стоит обычное: «А, ерунда, обойдётся...»

Но эти рассуждения хороши только для психически здорового человека. Фима же чувствовал, что с ним происходит нечто, независимое от него, неподвластное разуму.

«Что со мной? Это же не лейтенант! Это – фантом... Никого нет в комнате... Никого! Почему я боюсь заорать? Тина... Господи, хоть бы она скорей возвратилась...»

Лейтенант аккуратно вложил лист в папку, завязал её прежним бантиком, сунул в полевою свою сумку, встал, энергично расправил на себе форму, открыл нагрудный карман кителя, вытащил оттуда приятно пухлый конверт, протянул его Фиме и проворковал:

– Через месяц получите визу, а пока купите себе и жене чего-нибудь стоящего. Наши люди не отправляются за рубеж с голым задом. Да, что касается жены, то я вам советую не врать ей, Фима. Ибо, если вы не доверяете жене, то зачем женились-то на ней? Муж и жена – одна сатана!

Фима вдруг захотелось заорать, он открыл рот, и из него посыпалось:

– Товарищ лейтенант, какая у вас раритетная сумка!

– Заметил... Вот, говорим о преемственности, традициях и прочем. Говорим?! Болтаем просто! А я пуще всего берегу дедову полевую сумку. Дед с ней всю войну прошёл. А потом отец берёт, – он в райкоме партии трудился, – без неё на работе не появлялся. А теперь я... Настоящая эстафета поколений! Вот как надо жить, Фима.

– А мне подумалось, что вы ко мне прямо с поля сраженья...

– Что я люблю в вашей нации, так это остроумие. Всегда и везде. При любых обстоятельствах.

– Особенно, в концлагерях.

– Фима, у меня нет времени на серьёзные дискуссии.

– Но какая кожа – столько всего вынести!

– Глубоко копаешь, Фима. Да, делали когда-то вещи. И люди были соответственно этим вещам. Прощай!

И исчез.

«И что я скажу Тине? Господи, что я скажу Тине?! А ничего не скажу. Если ей сказать, то всю оставшуюся мою жалкую жизнь она будет заговорщицки спрашивать „Ну как?“ и оглядываться. Не говорить – это же не значит лгать. И потом – всего лишь газеты. Какая, на самом деле, ерунда. Мудак ты, мудак! Не уговаривай себя! Будешь пакостить Израилю, как кусачая блоха... А вдруг это действительно во имя улучшения двусторонних отношений? Я буду поставлять этим гадам именно нацеленную на это информацию. Вот выход из положения! Давай, давай, Фима, уговори себя! Уговори! А станет сурово – пойду в ШАБАК и всё выложу. Это будет поступок! И меня тут же сделают двойным агентом... И это – конец. Всё, завтра пойду в КГБ отказываться. А к кому идти? К Владимиру Семёновичу... Идиот, даже фамилии не узнал! Господи, да что со мной творится?! А не подпиши, навеки остался бы здесь. Один, без друзей, ненавидимый титульной нацией. Нет, нет, может быть, я поступил не так уж глупо... Выкручусь... Подумать только, не узнать фамилии! Фима, у них фамилий больше, чем у всего населения СССР... Но весь ужас в том, что пришли ко мне, именно ко мне! Вот чего я стою... Но как эти гады узнали, что я трус? Я же всё делал, как все. Страх – это же внутреннее состояние. Или у труса есть что-то в лице, в повадке? А, вспомнил! Когда милиция тащила нас в автобус, я не сопротивлялся, шёл себе под ручку с гебешником, и всё. А остальные вырывались, кричали, им заламывали руки, их пинали, били... А в камере? Нет, в камере я вёл себя прилично. Если не считать ту постыдную истерику, когда остался один... Господи, а вдруг среди нас уже много таких, как я, подписавших? Фу, легче стало... Подпись... Да хрен с ней, с подписью! Заявлю в Израиле, что заставили! Шантажировали!»

И в это время вошла жена. И очень довольная, так как ей удалось купить такой кусочек мяса, такие малосольные огурчики, такую сметану!.. И не дорого! Правда, пришлось походить по рынку!..

– Ох, Фимка, я тебя сегодня побалую! А с чего ты такой розовый?

Поразительная женщина! Ответ ей был совершенно не нужен. Но уже через считанные минуты, на сковороде, полной поджаренного, золотистого лука, шипели одинаковой толщины куски мяса, а на соседней конфорке тихонько подпрыгивала крышка кастрюли, в которой варилась картошка, должная через несколько мгновений превратиться в белые, дымящиеся развалины, обильно сдобренные маслом, чесноком и укропом. Это была обоими любимая еда, вкус которой зависел исключительно от качества мяса. Но год шёл 1986-ой, начало «перестройки»,

трудности были не только с мясом, но и со всем съедобным, медленно переходившим в несъедобное, по примеру «докторской» колбасы, по виду напоминавшей вынутый из процеженного бульона и затем спрессованный, несвежий, желтоватый творог, вдавленный в рулон полиэтиленовой плёнки. Знатки поговаривали, что в эту «колбасу» добавляли и нехилое количество крахмала.

Но никто не умирал с голоду. Мясо – или расхватывали на пути к прилавку, или в подсобках, конечно же, с хорошей переплатой, или покупали ранним утром на рынках, или ездили в какие-то подмосковные дали. Вечный советский дефицит рождал гениев поиска и спекулянтов, без которых жизнь в перестроечные годы была бы просто невозможной. И ничего удивительного, что из страны бежали не только по идейным соображениям, но и ради жратвы, которая на Западе и в Израиле, по знанию многих советских евреев, была красиво упакована, доступна и вкусна. В этом прилюдно, к его чести, признался в 1992 году временно эмигрировавший в Израиль, актёр Михаил Казаков. И никто его не осудил. Максимум, что могли сделать идейные сионисты, это не ходить на его спектакли. Так жёны их ходили...

– Давай выпьем! – Не ожидая ответа, Фима направился к холодильнику. – В честь тебя, сотворившей этот выдающийся обед!

Фима налил две рюмки водки; одну из них, наполненную лишь наполовину, протянул жене, потом потянулся к ней за поцелуем, успел увидеть удивлённые глаза, коснулся её тёплых губ, и они выпили. Впрочем, Тина сделала лишь крошечный глоток.

– Стала трезвенницей?

– Нет, просто не хочется... Фима, что с тобой? Слезы?

– Не обращай внимания. Накатывает иногда...

Нет, никогда в жизни не расскажу ей. Никогда, ни за что... Неужели я сошёл с ума?..

– Я тут без тебя... Гебешник приходил...

– Господи... Что это вдруг? Угрожал? Страшно было, да? – Тина перестала есть.

– Давай поедим, потом расскажу.

– Нет, говори сейчас.

– Потрясающее мясо! Давай ещё выпьем. По капельке...

– И ты немедленно всё мне расскажешь.

Фима выпил. Дожевал последний кусочек мяса, нацепил вилкой последний кусок картофеля. Отправил в рот. Откинулся на спинку стула.

– Ах, Тинка, какая ты потрясающая стряпуха! Да, так о гебешнике... На самом деле, ничего особенного. Приходил лейтенант. Спрашивал, когда устраюсь на работу, уговаривал больше не выходить ни на какие демонстрации, в противном случае, сказал, могу сесть, и сесть надолго... В общем, обычная тоска.

– Интересно, что сам пришёл, не вызвал по повестке. А если б тебя не было дома?

– Да они всё о нас знают. Он, например, знал, что ты ушла на рынок.

– Странно... Ты какой-то опущенный. Ты всё мне рассказал?

– Почти...

Я не могу не рассказать ей... Как я буду жить с такой ложью? И всё равно, она рано или поздно всё узнает, и мне конец — почему скрывал? А вдруг, если сейчас расскажу, она врежет мне и уйдёт? Я однажды солгал ей, по мелочи, и она три дня со мной не разговаривала... Как котёнок бегал за ней и просил прощения... С другой стороны – я же, наверное, сошёл с ума... И об этом я просто обязан сказать ей.

Он стал собирать со стола грязную посуду.

– Фима! – голос жены стал угрожающим.

– Этот гад, представляешь, предложил мне работать на них.

Повисла кошмарная тишина.

– Фима, и ты не сказал ему «нет»?

– Конечно, сказал! Как ты могла подумать иное?.. Но, знаешь, он предложил работать на них не здесь... а в Израиле... И я подумал, что как скажу здесь «да», так и скажу в Израиле «нет», немедленно обращусь в ШАБАК или куда там ещё, и окажусь под их защитой. А главное, что мы через месяц получим разрешение, представляешь?

Тина, любовь моя, только не взорвись, только не презирай, только не уйди, только пойми меня... Надо было делать ребёнка, не ждать годами разрешения... Всё было бы иначе... А если уехать в Америку... Неужели будут и там искать нас. Нас... Господи, не разлучи! Но зачем ей нужен сумасшедший муж?

– Ты немедленно пойдёшь в КГБ и откажешься. Немедленно! Мы вместе пойдём. Я скажу им, что не разрешаю! Что у тебя была минута слабости. Что ты страшно устал жить в «отказе». Одевайся!!

– Тиночка, родная, только без истерики. Давай сначала всё обдумаем. Понимаешь, он не назвал своей фамилии. Как мы найдём его, а? Знаешь, я иногда думаю, что это был какой-то фантом, а не лейтенант. Он вроде был и вроде его не было...

Но Тина не слушала его.

– Опишешь его – с твоим-то талантом! Фима, что ты наделал?! Я – жена шпиона?! И сколько я выдержу такой жизни? А наши дети будут детьми шпиона?! Фима, я беременна! От шпиона! Одевайся!!

– Беременна?! И не сказала? Тина, родная...

Он протянул к ней руки, но жена скользнула в спальню и оттуда прокричала:

– Из тебя шпион, как из меня Майя Плисецкая!

Тина в юности занималась в танцевальном кружке и обожала балет и танцы.

Фима лихорадочно одевался.

Брюки, его обиходные брюки, подшиты были безобразно. При одевании правой штанины, большой палец ноги упирался в уже надорванный шов конца штанины, застревал в нём, штанину приходилось приспускать, со всей силы подгибать палец, снова натягивать, что далеко не всегда достигало цели. Выматывала эта процедура страшно. А бегать за другими штанами при уже надетой левой штанине почему-то было унижительно.

Я столько раз просил её починить этот проклятый шов. Столько раз! Она из меня делает котлету. Точно, как это сделал гебеиник. Она беременна. От меня. Но мы же предохранялись! А, помню, помню — вернулись поддатые с проводов... Как я люблю её!

Его вдруг бросило в жар.

Куда идти? На Лубянку? Меня же отправят в сумасшедший дом! Как я скажу им: «Я отказываюсь от прежде принятого обязательства шпионить в пользу СССР. Мы с женой...»

...Стоял прохладный май 1986-го года. Два часа пополудни. Их узкая улица на севере Москвы радостно высыхала после ночной стирки в проливном майском дожде. Было так покойно, так красиво, что редкие машины, стеснительно шурша шинами, старались как можно быстрее скрыться за поворотом, чтобы не нарушать идиллии.

– Куда же мы пойдём? – спросил Фима.

– Сначала в отделение милиции, чтобы узнать, где располагается наш местный КГБ.

– Почему ты не сказала мне, что беременна? Как-никак я имею к этому непосредственное отношение. Или я ошибаюсь? Ну, зачем я ёрничаю? Сейчас получу...

– Фима, давай решим проблему шпионажа, а потом и проблему беременности.

– Тина, пойми, что-то со мной случилось. Я бы никогда не подписал такое. Моя рука подчинилась кому-то другому. Это не я. Клянусь. Мне вообще всё произошедшее кажется сном. Или представлением. Может, я ничего и не подписывал... Может, никакого лейтенанта и не было...

– Вот и выясним. Ты хоть внешность его запомнил?

– Ты знаешь, по мере нашей беседы она менялась...

Тина резко остановилась.

– Фима, а, может, ты меня просто разыгрываешь? Да так убедительно...

– Кто же так жестоко разыгрывает? Когда он появился... Господи, я же никому не открывал дверь!! Он сам вдруг появился!.. Он был молодым лейтенантом со старой полевой сумкой через плечо... Потом позеленели его глаза, потом пожелтели щёки, и вообще он вдруг постарел... И он висел над стулом! Да, да – висел над стулом! Деньги!! Он дал мне деньги! Но я не помню, куда сунул их... Я даже не посчитал, сколько он дал. Пакет... Он сказал, чтобы мы купили себе что-нибудь стоящее...

– Немедленно возвращайся домой и принеси эти проклятые деньги! Я подожду здесь. Фима, беги!

И Фима побежал. Задыхаясь, он влетел на третий этаж, с трудом, не сразу попав ключом в замочную скважину, отпер входную дверь, скинул туфли, нацепил домашние тапочки, – привычка к этому важному переодеванию, установленному женой с первого дня прибытия её в квартиру, была превыше всего, – бросился к письменному столу, резко стал открывать ящик за ящиком – никаких денег не было... Он взмок – весь, от пальцев ног до коротко постриженной головы. На всякий случай, он ещё раз перерыл все ящики – денег не было. А ведь пакет был увесистый, но он не помнил, куда после ухода лейтенанта сунул его... Куда? Куда, господи?! Потом появился звон в ушах. Приятный, мелодичный звон. Он не знал, что делать – ещё поискать, но где? – или помчаться к Тине. Нет, конечно, надо бежать к Тине. Да, да, это главное – к Тине...

Проклятье ненавидимых им туфель заключалась в том, что они без всякого труда сбрасывались с ног при завязанных шнурках, но надеть их без развязывания шнурков было невозможно. И начиналось – лихорадочное развязывание, вроде бы простым бантиком завязанных шнурков, переходящее в битву с немедленно образовавшимся узлом. На этот раз в ход пошли даже зубы. И Фима тихо заплакал. В конце концов, он справился и выскочил на улицу.

Запыхавшись, подбежал к Тине.

– Почему так долго?

– Искал деньги.

– И много их?

– Я не нашёл денег.

Тина, приготовившись взять мужа под руку, остановилась.

– Это как?

– У меня нет ответа.

– Ты хорошо помнишь, куда положил их?

– Я ничего не помню... Тина, мне очень плохо. Мне никогда не было так плохо. Я даже не могу утверждать, что ко мне приходил этот странный лейтенант. Тина, со мной что-то происходит...

– 2 –

Фиме к этому времени было только 40 лет, а Тине – уже тридцать... Фима 12 лет сидел в безнадежном, как ему казалось, «отказе». Четыре года тому назад они познакомились на шумных, печальных для провожающих и тоскливо-радостных для уезжающих, проводах в Израиль двоюродного брата Тины, человека-легенды, такого бесстрашного, что Фима не знал, как с ним держаться и о чём разговаривать. Этот брат отсидел бесконечное число пятнадцатисуточных арестов, после каждого из них выходил весёлым, хотя и помятым, и немедленно отправлялся на следующую демонстрацию. На допросы он являлся с будильником и бутербродами и в нужное ему время объявлял следователям, что у него обеденный перерыв. Гебешники грозили ему скорой и уже настоящей посадкой, но вместо этого неожиданно выпустили

в Израиль. Это был 1983-й год, начало эпохи генсеков-мертвяков, один за другим уходивших в Лету, это было – никто ещё, правда, того не знал – начало развала империи. И гебешники не знали, но воистину собачий нюх на малейшие колебания почвы, заставлял их принимать, на первый взгляд, странные решения...

Фима на этих проводах прилично выпил. Тину он заметил не сразу, но, заметив, уже не мог отвести глаз. Для придания своему поведению не только значительности, но и естественности, орал со всеми «отказные» песни, прочёл, сочинённый по случаю, рыдающий стихок, кончавшийся простыми словами: «Безумцам нашим вослед мы плачем».

Красавицей назвать Тину было нельзя. Но сочетание её черт и всё ещё юная округлость форм создавали облик, который уже не отпускал. Она была неуловимо похожа на Галу, жену Сальвадора Дали. Помните – ничего, вроде бы, особенного, но, поди, оторвись от лика её на многочисленных портретах. И, несмотря на это, Тина была не замужем. Ухажёры были, были даже связанные с ней близостью, но то они исчезали, то она гнала их от себя и скоро уверовала, что останется старой девой...

И однажды вечером, когда семья молча чаёвничала, Григорий Аркадьевич сказал:

– Дочь, поехали в Израиль, а? Еврейских ребят почти уже нет, а если и есть, то обязательно комсомольцы...

– Поехали... – безучастно проговорила Тина.

От этого слова до проводов, описываемых нами, прошёл ровно год...

Тина с удивлением взирала на незнакомого мужчину, в восторге сверлившего её глазами. «Поди ж ты, я ещё нравлюсь, – думала Тина, – а этот, кажется, сейчас просто свалится к моим ногам. А, может, пьяный? Несколько невзрачный... Умный хотя бы?»

...Фима, в тогдашние 40, был холостяком по причине вечных своих любовных неудач. Он трижды был влюблён и четырежды отвергнут. Как это может быть? Дело в том, что в четвёртый раз он совершенно не был влюблён, а упорно, в основном, чтобы доказать себе свою состоятельность, ухаживал за женщиной, добываясь близости, в том числе, и духовной. И был отвергнут. Не то чтобы от неудач на любовном фронте Фиму охватило отчаяние, но все его друзья-«отказники» были уже давно женаты, и Фима чувствовал себя неуютно – иди, рассказывай им, что тебя постоянно отвергают. Главной и весьма правдоподобной, оправдательной версией была необходимость женитьбы только на «подавантке» или «отказнице», но лучших уже порасхватили, а остальные...

Он был по-настоящему одинок – все, подчёркиваем, все известные ему родственники из СССР укатили. Даже мама, Елена Яковлевна, несмотря на её отчаянное сопротивление. Дело в том, что маму ждал её единственный родной брат, покинувший Россию ещё в двадцатых годах и прибывший в Израиль в 1948 году после чудесного выживания сначала в немецком концлагере, потом в послевоенных погромах в Польше.

Отца же Фима почти не помнил. В 1950 году, когда Фиме было всего четыре года, на подмосковном химическом заводе, в цехе, начальником которого был Фимин отец, случился взрыв. Отца и ещё двух евреев заподозрили во вредительстве, арестовали, но суд приговорил их «всего» к трём годам принудительных работ на Пермском химкомбинате, так как вредительство с них сняли, – очень уж ценные были специалисты, – оставив «преступную халатность», – и никто Фиминого отца больше не видел. В 1951 году мама получила извещение, что её муж скоропостижно скончался от двустороннего воспаления лёгких. Она тотчас поехала в какое-то место около Перми, где и «повидалась» с ним... В 1954 году мама получила извещение, что мёртвого отца реабилитировали.

– Максимум через год я приеду! – шептал Фима зарёванной маме, провожая её в аэропорту Шереметьево. – Каждый год присылай мне вызовы и требуй воссоединения семьи через самые высокие инстанции! Дядя Давид поможет! С его-то связями! Перестань плакать, мамочка! Ты – мой въездной билет в Израиль!

И на пороге своего шестидесятипятилетия, в 1982 году, она уехала в Израиль.

...Фима не мог оторвать глаз от Тины. Она весело выразила на лице своём некоторое смущение, но даже малейшего отвращения в этом смущении Фима не заметил, что придало ему немало мужества. И прожевав корочку чёрного хлеба, дабы не свалить Тину парами водки, он стал продвигаться в её сторону. Продвигался долго и вдруг очутился прямо перед Тиной, причём, невзирая на его сопротивление, до неприличия прижатый к ней броуновским движением пьющих, жующих и говорящих тел.

– Вы – Тина! – почти в ухо ей прокричал Фима. – Мне ваш брат рассказывал о вас.

– И что же он рассказывал?

– Что-то очень хорошее. Правда, я не очень помню.

– А вы вспомните!

– Вспомнил! Что вы умная, добрая, начитанная и на сей день одинокая. Он рассказывал, что, как это ни печально, вы всё ещё не собрались ехать в Израиль.

– Для кого печально?

– Естественно, для Израиля!

И получил в награду первую её улыбку. И сразу стал терять заготовленную на случай знакомства оригинальность своей натуры.

– А вы, конечно, «отказник»?

– Увы, да.

– Ужасно. И что же вы делаете?

– Борюсь за отъезд.

– А в перерывах?

– Работаю в Театральном училище им Щукина.

– Кем?!

– Плотником. Но к ударам моего молотка прислушиваются лучшие преподаватели училища! Мало того, самые выдающиеся студенты постоянно обращаются ко мне с просьбами!

– С какими?! – её весёлые карие глаза округлились.

– Одолжить им рубль на водку!

Она рассмеялась, приложив руки к груди, и от этого простого жеста у Фимы так заколотилось сердце, что он еле удержался, чтобы не поцеловать её.

– Можно я провожу вас?

– Но я с родителями и братом.

– А я всех вас провожу.

И в ответ вновь ободряющая улыбка.

– Подождите минутку...

Она юркнула сквозь тела евреев, и Фима, заморожено следивший за ней, увидел, что она остановилась около приятных видом мужчины и женщины, что-то сказала им, те стрельнули глазами в толпу, естественно, Фиму не обнаружили, но кивок отцовской головы и что-то, несомненно, назидательное, произнесённое мамой, дали понять Фиме, что проводить Тину домой ему высочайше разрешено.

Немного пьяная толпа остающихся в СССР евреев ещё долго пихала и расталкивала Фиму с Тиной, даже пыталась отделить их друг о друга, но это было уже не в её силах...

Перед самым расставанием, у подъезда её дома Фима пытался поцеловать Тину, но получил указательным её пальчиком по носу. Следующее свидание было назначено на завтра...

Боже мой, люди, вы знаете какое это счастье, когда с девушкой не надо говорить об «эдаком», а можно говорить о своей жизни (правда, чуть привирая), слушать о её жизни, острить и смеяться, потому что душа того просит, и с окончанием свидания сначала просить о следующем, а потом и просто назначать и готовиться к самому главному в жизни – предложению руки,

сердца и... радостей «отказной» жизни... Фима снова влюбился, в четвёртый раз, но отвергнут не был.

Через полгода после знакомства, в первый день нового 1983 года, сыграв скромную, но украшенную присутствием многих великих «отказников» свадьбу, новоиспечённое семейное сообщество в лице Фимы, Тины, родителей Тины – Елизаветы Иосифовны и Григория Аркадьевича – и её младшего, длинного и нескладного, но талантливое брата Феликса, решило обмануть КГБ и подало документы на выезд всей семьёй. В итоге, через пять месяцев все, кроме Фимы, получили разрешение, и Фима со своей женой остались одни в скромной, двухкомнатной кооперативной Фиминой квартире...

Расставание с Тининым семейством, признаемся, не было столь уж тяжким испытанием для Фимы. Григорий Аркадьевич, человек многих сложившихся и не меняемых убеждений, любивший Л. Н. Толстого и называвший роман Булгакова «Мастер и Маргарита» «длинным фельетоном с претензиями», чем доводил Фиму до беззвучного иступления, принял замужество дочери спокойно, и если и мечтал о большем (и в смысле роста – тоже) для своей любимицы, то ни Фиме, ни дочери никоим образом это не выказывал и лишь иногда глубоко-мысленно вздыхал, слушая восторженные Фимины рассказы о студентах (в основном, – студентах) своего училища. Иначе, как «своим» «щукинку» Фима не называл.

Елизавета Иосифовна всеми силами старалась полюбить Фиму, заменить ему уехавшую мать, но Фима постоянно выныривал из её готовых распахнуться ему навстречу объятий, так как более всего боялся её вмешательства в их жизнь, твёрдо уверовав из книжек и кинофильмов, что тёща – почти всегда зло. Вот Тине он доверился сразу и, казалось, на всю жизнь.

Интересно складывались отношения Фимы с младшим Тининым братом, вундеркиндом Феликсом, ростом в метр восемьдесят пять и продолжающим расти, что было причиной многих острот по поводу его происхождения, ибо рост и папы и мамы был самым что ни есть нормальным. Вундеркиндность Феликса проявилась уже в десятилетнем возрасте, когда он заявил родителям, что будет учиться только в математической школе. И его семь лет возили в эту школу, которую он закончил с золотой медалью. Дальновидный Григорий Аркадьевич, понимавший, что в университет Феликса не примут при наличии даже нескольких золотых медалей, настоял на поступлении в «керосинку», – так назывался в то время Московский институт нефти и газа, – куда евреев брали, видимо, в надежде на скорую от них отдачу: картина счастливо улыбающегося, носатого, белозубого еврея-нефтяника в каске, с головы до ног испачканного нефтью, радовала сердце антисемита любого ранга. Но самым главным было то, что в «керосинке» по явному недомыслию властей открылся в это время математический факультет, куда Феликса приняли с распростёртыми объятиями. Окончив и его с золотой медалью и проработав год в какой-то незаметной «шарашке», будущее математическое светило отправилось в Израиль.

Так вот, Феликс встретил Фиму весьма насторожённо. После первого знакомства, состоявшегося в доме Григория Аркадьевича, Феликс стал называть Фиму «дядей», и обращался к нему со следующими вопросами: «Дядя Фима, правда, что почти все актёры малообразованны и глуповаты?» Или: «Дядя Фима, а как вы думаете, сионизм сочетается с сытой жизнью или он изначально противопоставлен ей?» Или: «Дядя Фима, а вы готовы работать в Израиле плотником?» Однажды подошёл к Фиме и сказал:

– Дядя Фима, ну зачем нам говорить на «вы»? Не такая уж большая разница в годах между мною и Тиной. А уж она точно вас называет на «ты», сам слышал! Феля и Фима! Договорились?

– Решил напомнить мне о разнице в годах между мною и Тиной?

– И в голову не приходило! Ну почему все так превратно толкуют мои слова?

– Потому что ты, Феля, – ехидна.

– Так что, мы никогда не подружимся?

– Подружмся, когда ты перестанешь считать меня великовозрастным похитителем своей любимой сестры.

– Я действительно люблю её, и мне её не хватает...

– Ты получил её даром, а я искал всю жизнь.

Феликс шагнул к Фиме и неловко, порывисто обнял его.

– Я больше не буду, честное слово... Фима, я давно хотел спросить... Вот, я смотрю на великих «отказников» и удивляюсь – как им удаётся быть такими жизнерадостными?

– К твоему счастью, ты не видел их в тюрьмах и лагерях, на допросах и при обысках. А в промежутках они жизнерадостны, потому что, прости за банальность, абсолютно уверены в правоте своего дела.

– А почему ты говоришь «они», а не «мы»?

– Я не принадлежу к числу «великих»...

– Так тяжело быть ими?

– Безумно тяжело.

– И этих безумцев много?

– Много... И я, увы, не чета им...

– Я не понимаю... Ты 12 лет в «отказе», дважды был арестован, ходил на всякие демонстрации, нам всё про тебя Тина рассказывала, а занимаешься самоуничижением! Из кокетства?

– Ни в коем случае... Как бы тебе вкратце объяснить?... Скажем, так: «великие» ведут за собой, а такие, как я только идут за ними. Мы – за их спинами. За это тоже порой достаётся, но не так страшно... Когда-нибудь, при раздаче наград «отказникам» я не посмею подняться в тот же ряд, где будут стоять Толя Щаранский, Иосиф Бегун, «самолётчики», Володя Престин, Володя Слепак, Паша Абрамович, Ида Нудель и многие, многие другие. Нет, Феля, это не самоуничижение, а простая констатация печального факта. И я нисколько не стыжусь. Более того, сами «великие» неплохо ко мне относятся, оценив моё посильное соучастие, моё восхищение ими, мои иногда удачные, посвящённые им стишки, моё гарантированное непредательство. Ну, и как тебе твой новый родственник?

Глаза Феликса сияли...

– Знаешь, Фима, кажется, Тинка чертовски удачно вышла замуж!

– 3 –

...Тина была детским врачом. И, видимо, хорошим врачом, ибо начальство после выдачи ей характеристики, требуемой ОВИРОм, не уволило её, а лишь пристыдило и попросило не делиться с больными детьми своими планами на будущее.

...Жили хорошо. Нет, правда, хорошо. Лишённые родителей, они прижались друг к другу и предметами их постоянных, но, полных взаимной заботы, споров были: заводить ребёнка или подождать, идти на демонстрацию, с немалым риском загреметь на пятнадцать суток, или не идти. Надо признать, что, как правило, тяжесть Тининых аргументов была чуть весомее Фиминых. И на этот раз Фиме, мягко говоря, не очень хотелось идти на демонстрацию с плакатами «Отпусти народ наш!», «Свободу Юлию Эдельштейну!», «Свободу Александру Холмянскому!» и авторским плакатом Иды Нудель «КГБ, отдай наши визы в Израиль!» Но Тина настояла. Она утверждала, что приходят времена вегетарианские, и надо как следует засветиться, чтобы скорей уехать.

И Фима на демонстрацию пошёл, и действительно «засветился», получив восемь суток так называемого административного ареста за двухминутное стояние в дождливый апрельский день 1986 года у издательства газеты «Известия». Сиделось не тяжело, но в последний день произошло вот что. Утром их, шесть человек, вместе отсидевших восемь суток, долго вели длинными коридорами «Матросской тишины» и, наконец, разместили в большой, пустой

камере. Ближе к обеду стали по одному вызывать для последней перед освобождением беседы, другими словами, неприкрытых, хамских угроз. Каждые полчаса раздавался грохот огромного засова, визгливо открывалась тяжёлая металлическая дверь, одного за другим сокамерников вызывал зычный голос «вертухая», и они исчезали. И очень скоро Фима к своему ужасу остался один. Он пересел на ближайшую к двери «шконку» в томительном ожидании скорого вызова. Сердце, будто предчувствуя беду, застучало так, что каждый его удар отдавался в голове. Мало того, тело начал сковывать холод. Время шло, никто его не вызывал. Фима в отчаянии сжимал и разжимал кулаки, растирал щёки и нос, но холод яростно отнимал у тела остатки тепла. Скоро он не выдержал и, бросившись к двери, замолотил по ней почти бесчувственными кулаками. Никто не отозвался. И у Фимы на самом деле началась истерика. Он орал, стучал кулаками по двери, прыгал, проклинал, умолял. Обессиленный, упал на «шконку» и заплакал. И, кажется, потерял сознание, ибо с великим трудом, будто сквозь глубокий сон, услышал скрип открывшегося в двери окошка и затем голос «вертухая»: «Чего орёшь? Обедать пошли. Ещё раз грохнешь в дверь...» И Фиму захлестнула такая волна счастья, что он запел, но, конечно, вполголоса, чтобы не быть услышанным этим замечательным «вертухаем».

Скоро Фиму вызвали, пригрозили, выдали бывшую у него до ареста мелочь, часы и ключи, и он, стыдясь своего невымытого тела, головы, полной перхоти, грязных ногтей, наверняка скверного запаха изо рта, попал в объятия счастливой Тины и ждавших его друзей.

И с этого дня у Фимы начались видения. Короткие, но почти осязаемые. Так, перед ним мог появиться «вертухай», сказать ему какую-нибудь несурезицу, подмигнуть и исчезнуть. Или следователь, год тому назад допрашивавший его и пригрозивший большими неприятностями. Он тоже подмигивал, грозил ему пальцем и исчезал. И так далее. Тине Фима об этом не рассказывал, будучи уверенным, что скоро всё пройдёт. Не проходило. И стали сниться скверные сны – бессодержательные, но злые, всегда в них что-то горело, кто-то он убегал в страшной тревоге, а однажды его «переехал» поезд, причем, ночью, и он, «перееханный», с ужасом наблюдал за исчезающим в ночи красным огоньком последнего вагона. Проснулся в поту, захотелось разбудить Тину, но она так сладко посапывала, что он сдержался, бесшумно слез с кровати, выпил воды, пописал, снова залез в кровать, с великой осторожностью прижался по счастью вечером выбритой щекой к плечу жены и, почти счастливый, заснул.

Часто снились ему шахматисты, супруги Боря и Аня Гулько, демонстрацию которых с последующим избиением их, он через несколько дней после отсидки наблюдал с близкого расстояния. От жалости к тоненькой Ане Гулько он чуть не заплакал и едва не потерял сознание от вспыхнувшей в нём ненависти к этой стране.

А несколько дней назад... Он спешил в магазин, и вдруг на узком тротуаре, по правую от него сторону «пристроился» тот самый тип в штатском, который руководил разгоном демонстрации и посадкой демонстрантов в автобус.

– Фима, не спешите, мне надо поговорить с вами! – проговорил, чуть задыхаясь, чекист.

– Вы должны вызвать меня повесткой... – начал Фима заученную фразу.

– Это разговор неофициальный, дружеский...

Фима ускорил шаг. Тот не отставал. Фима припустился лёгкой трусцой – гебешник не отставал. Тогда Фима ещё более ускорил темп бега и взял чуть правее, в расчёте на то, что этот тип, коль скоро он не отстаёт, непременно треснется о толстенный тополь, стоявший на краю тротуара. Ещё быстрее! Баххх! Фиме даже показалось, что старый тополь качнулся от мощного удара. Правда, треска разбитого лба Фима не услышал, что очень огорчило его. Но Фима остался один! Он перешёл на шаг, и никого рядом не было! Он подпрыгнул от радости, возгордился своей сообразительностью и понял, что отныне сможет бороться самостоятельно с этими проклятыми привидениями. Гордости его не было предела. Он шёл и пел.

А через несколько дней после этой «победы» случилось вот что... В субботу, как обычно, Фима к двенадцати часам (на этот раз без Тины) пошёл к синагоге. Потрепавшись со знако-

мыми, Фима заметил, что один из «великих» отказников, Юлий Кошаровский, ничуть не стесняясь стоящих на противоположной стороне улицы Архипова гебешников, обходит старых «отказников» с письмом. Каждому потенциальному подписанту он давал прочесть письмо и, получив согласие на подпись, удобно располагал перед ним свой портфель. Письмо, по-видимому, было коротким, так как ни у одного подписанта он не задерживался дольше минуты. Когда он оказался в непосредственной близости от Фимы, тот вплотную подошёл к нему и сказал, что тоже хочет прочесть и подписать письмо. Ответ был ошеломляющим:

– Фима, я не думаю, что тебе это нужно. Это только для крутых «отказников»...

Фима потерял дар речи. И надолго. Чтобы прийти в себя, он стал обходить кипучие группки евреев, но не слышал ничего, кроме звенящего в голове «Это только для крутых «отказников». Покрутившись, предполагая помутневшей головой, что все с насмешкой взирают на него, Фима вдруг обнаружил, что находится перед входом в синагогу. Он поднялся по нескольким каменным ступеням, ведущим в молельный зал, откуда раздавался негромкий, монотонный гул молящихся. Взяв со столика, расположенного у входа, кипу, нашёл самое неприметное, с краю, место на тяжёлой, отполированной скамье, опустился на неё и задумался.

«...Я – везде, но везде ничего не значу... За 12 лет «отказа» я не родил ни одной идеи, не высказал ни одного дельного предложения. 12 лет меня знают только по стишкам «по случаю»... Ко всему я – трус. Я имею полное право сказать такое о себе. Да, я участвовал в демонстрациях. Но только в толпе. В толпе мне не страшно. В толпе меня охватывает торжество победы над самим собой. Я растворяюсь в толпе. В веществе толпы я исполняю роль молекулы. Я никогда не выходил на демонстрации в одиночестве, вдвоём, втроём, даже впятером. Только в толпе. Я подписал множество писем, где стояла толпа подписей. Почему же я обиделся? За какие такие подвиги моё имя должно прозвучать на «Голосе Америки», Би-Би-Си, «Немецкой волне»? Кошаровский неимоверно жесток, но прав! Не дают орденов за длинную жизнь, дают – за подвижническую. Но, с другой стороны, какое имеет значение ещё одна подпись? Наверное, это элитарное письмо... Письмо героев, в котором мне нечего делать... Что происходит со мной? Да мало ли писем ушло без моей подписи? Меня когда-нибудь искали для подписи? И я обижался? С другой стороны, сказали бы мне такие слова Володя Престин или Паша Абрамович? Нет, никогда, хотя кому, как не им, знать моё место в «отказе»... Пойти бы сейчас к ним, поплакаться, пожаловаться.

И Фима тотчас увидел измождённое, доброе, понимающее лицо Володи Престина, любимого «отказника» евреев. И Фима, даже не приподнявшись со своей скамьи, а только закрыв глаза, позвал Володю и, задышавшись, рассказал ему о письме. Володя выслушал, стал нежно гладить Фиму по правой щеке. И, когда у обоих на глазах выступили слёзы, Володя исчез.

Окрылённый, Фима, опять же, не приподнявшись со своей скамьи, позвал Пашу.

И немедленно оказался около него. И, задышавшись, рассказал ему о письме. И Паша спросил:

– Хочешь выпить? – и грубовато провёл по Фиминой щеке ладонью...

Выпить они не успели, потому что Паша исчез. Но Фиме определенно полегчало. На несколько секунд. А потом стало страшно. Как это получилось, что так явственны были Володя и Паша? Он замечал мельчайшие морщинки на лице Володи, тепло его руки, ощущал на щеках Пашины ладони. Но почему их искреннее сочувствие выразилось не в словах, а в прикосновениях к его щекам?

Фиму охватила паника. А тот тип, которого Фима укротил тополом? Он же слышал стук тела о дерево!

Как мне плохо! Как мне плохо! Господи, помоги мне! Дай мне уехать! Дай мне начать новую жизнь! Я не могу, не хочу быть среди героев! Я хочу быть среди инженеров, на худой конец – плотников...

По Фиминому лицу текли слёзы. Закончилась молитва. Старики, с трудом поднявшись со своих мест, бродили по залу, перебирая в ладонях кисточки своих талесов, подходили друг к другу и тихо разговаривали, вздыхали, вытирали платками слезящиеся глаза. Фима почувствовал себя лишним, боялся, что его спросят о чём-то. Он медленно отправился к выходу, положил на место кипу и пошёл домой.

Это была ещё одна ужасная ночь. На него топали ногами «отказники» и орали, что он лишний в «отказе», что незаслуженно пользуется подарками от иностранцев, что они вспомнят в Израиле всё...

Ему мучительно хотелось обо всём рассказать Тине. Но ещё мучительней было увидеть страх на её лице.

А через неделю к нему пришёл этот странный лейтенант с потёртой, времён войны, сумкой...

— 4 —

– Идём домой.

Тина нежно взяла его под руку, и они тихо направились обратно.

– Если нет денег, значит, и не было никакого лейтенанта. Ведь ты не собирался таким образом разыграть меня?

– Конечно, нет.

– И это в первый раз такое?

– Нет...

– Почему ты не рассказывал мне?

– Я думал, пройдёт.

– И много было такого?

– Не очень... Но я справлялся...

– Значит, пойдём к Эдику.

– Конечно, конечно...

Не произнеся больше ни единого слова, они добрались до дома. Фима уселся в кресло у письменного стола, сжал в холодных ладонях щёки и застыл. А Тина позвонила Эдику, врачу-психиатру, другу многих «отказников». И уже на следующее утро им был назначен приём.

– Тина, – вдруг, с истерикой в голосе, спросил Фима, – почему ты не рассказала мне, что беременна?

– Я ждала соответствующей обстановки.

– В роскошном ресторане, при свечах?

– Примерно.

И вдруг добавила:

– Фима, мы скоро уедем.

– Откуда ты знаешь?

– Все генсеки поумирали. Не боясь, вслух говорят о «пятилетке пышных похорон». Что-то происходит. Горбачёв молод и не из их среды. Надо немного потерпеть. Совсем немного. Фима, я чувствую...

– У них никогда ничего не изменится.

– Неправда. Они меняются сразу, пластами – Сталин, потом эти мертвяки...

– Я счастлив, что ты беременна, но представляешь, каково это – растить ребёнка, на которого все русские дети будут показывать пальцем – сионист...

– А ты представляешь себе, как можно жить без ребёнка? Фима, мы будем растить ребёнка в Израиле! И не смей мне перечить!

Он не ответил, но с ужасом поднял на Тину глаза.

– А если я болен, то ребёнок родится от сумасшедшего отца?
– Ты никакой не сумасшедший, ты устал от «отказа», ты сломался, но это восстановимо, и Эдик нам поможет.

– А вдруг в момент зачатия я был уже болен?
– Зачатие, скорей всего, случилось перед самым вашим выходом на демонстрацию... Ты был мрачен, не очень хотел идти, но был совершенно нормален и приставал ко мне, как одержимый...

– Секс и сумасшествие всегда бродят рядом.

Тина подошла к Фиме, уселась ему на колени, обняла за шею, и они застыли...

...Один из известнейших врачей «отказа» Эдик, – интересно, что многие, получившие от него помощь, не знали ни фамилии его, ни отчества, ни возраста, – великолепный психиатр, редкий умница с лукавым взглядом, проникновенным голосом, широким, кажущимся добродушным, круглым лицом, мягкими движениями, да и сам весь небольшой, округлый и мягкий, внимательно выслушал Фимин рассказ о посадке в тюрьму и том ужасе, и истерике, охватившими его, когда он остался один в камере; потом он рассказал о истерзавшей его душевной боли при виде издевательств милиции над Аней Гулько, боли, не отпускавшей несколько дней; потом об уличной «схватке» и «победе» над «гебешником», потом, немного стеснясь, об отказе одного из великих «отказников» дать ему на подпись письмо, и, наконец, о приходе лейтенанта...

– Надеюсь, ты ничего не выдумываешь?

– Эдик, зачем мне выдумывать?

– Не оправдывайся. Я говорю «выдумываешь» не в смысле сознательного вранья мне, а в смысле обрастания произошедших событий, в силу их необычности, деталями, рождёнными больше твоей фантазией, чем реальностью. Ты, например, заиклен на своём временном одиночестве в камере, на старой полевой сумке лейтенанта, на изменениях в его внешности. Но меня больше интересует, стучался он в дверь или звонил?

– Ни то, ни другое...

– Другими словами, ты вдруг увидел его в квартире.

– Именно так.

– Бывало с тобой такое раньше?

– Нет... Нет, точно не бывало!

– Тина, и ты ничего такого за ним не замечала?

– Мой муж часто бывает задумчив, его трудно вывести из этого состояния, ему свойственны спонтанность и непродуманность в некоторых решениях... Фима, только, пожалуйста, не остри, что одним из таких решений была женитьба на мне. Эдик, он был нормальным мужиком!

– Почему был?! Ну, посетили нашего Фиму бредовые галлюцинации. По-научному – реактивно обусловленные, бредоподобные фантазии у личности с особой типологией.

– А что это такое? – опасливо спросил Фима

– Это термин из науки, называемой характерологией.

– И кто же исследовал мой характер?

– А его и не надо исследовать! Стихи пишешь? Пишешь! Я об этом осведомлён.

– Но, замечу, плохие.

– Да разве дело в качестве стихов? Дело в самом процессе сочинительства, когда ты удалён от реального мира, отрешён, когда перед тобой возникают призванные тобою образы, когда ты вскакиваешь как сумасшедший от неожиданно пришедшей строки, рифмы, ритма, мысли, если вообще она присутствует в стихах, короче говоря – творчество есть не вполне нормальное состояние человека. Кроме того, ты сломался от резкого изменения условий существования,

тяжёлых физических испытаний и отсутствия присутствия в течение восьми дней тюремного заключения такой очаровательной, умной и верной жены.

Тина приятно покраснела.

– Вообще-то, ребята, – продолжал Эдик, – такого рода галлюцинации являются основным симптомом, уж простите меня, шизофрении, при которой в особо тяжёлых случаях происходит полный отрыв от действительности и переход в ирреальный мир, сопровождаемый галлюцинациями, иллюзиями и бредом. А критерием выхода из этого шизофренического состояния можно считать решительное отрицание больным действительности психотического мира, в котором он вдруг оказался, особенно, если это происходит в самокритичной и остроумной форме – меня, например, привёл в восторг твой, Фима, рассказ о том, как ты вырубил при помощи дерева бегущего рядом с тобой гебешника. И что я посоветовал бы на это время – умеренности в потреблении водки и неучастия в опасных коллективных акциях. И никаких ссор с женой – хотя, видит Бог, я не знаю, как можно ссориться с такой женщиной.

Тина ещё раз приятно покраснела.

– И ещё. Фима, не надо никому рассказывать о твоём лейтенанте. Ладно? Ибо всеобщее еврейское сочувствие, сопровождаемое вопросом «Ну, как ты?», есть прямой путь в дурдом. Ах, дорогие мои, разве вы не чувствуете ветра перемен? И не надо выводить из себя товарища Горбачёва. Не надо... Фима, я повторюсь – опьянение или резкое, отрицательное изменение в настроении, или, хуже того, депрессия, и не тебе рассказывать, как липнет она к многолетним «отказникам», может привести к срыву, и тогда уже надо будет лечиться по-настоящему, чего никому из моих друзей не желаю. Ну, а я, со своей стороны, выпишу тебе щадящую дозу аминазина, попринимай его месячишко...

Эдик достал тонкий блокнот рецептов и начал сосредоточенно писать.

– Эдик, это принимают все чокнутые?

– Я рекомендовал бы аминазин половине человечества. И себе в том числе. Он обладает замечательным седативным эффектом...

– Каким?

– Господи, какой же ты серый! Седативным – значит, успокаивающе действующим на центральную нервную систему. Аминазин может полностью купировать бред и галлюцинации. Он даже успокаивает икоту! Будешь принимать внутрь в виде драже. Это самый удобный и распространённый способ. Колоть внутримышечно – оно эффективней, но нам этого не надо. Начнём с 25 миллиграмм три раза в сутки и постепенно доведём до суточной дозы в 100 миллиграмм. В течение месяца. Вот тебе рецепт, и каждые три дня звони! Да, вот ещё о чём хочу спросить... Фима, этот мифический лейтенант, как я понимаю, ужасался значимости твоей секретности. Есть в твоей секретности что-то особенное?

Фима несколько мгновений смотрел на Эдика.

– Эдик, моя секретность – не в знакомстве, причём шапочном, с производствами боевых ядов, а в знании – я пять лет мотался по химическим комбинатам – бардака, который там царил, уверен, царит и сейчас; в знании о том, в какие реки сбрасывают сточные воды, наполненные жуткой гадостью. Я знаю, где рабочие травятся из-за плохой вентиляции и вечных протечек жидкостей и газа, где воруют всё, что можно поднять и нести... Я знаю, как рабочие добывают спирт, причём, не питьевой, а сырец – из дырок, просверлённых в трубопроводах и залепляемых после питья пластилином. А знаешь, из чего пьют эту отраву? Из вывинченных из потолка электролампочек, у которых они отбивают цоколь... И оттого губы их никогда не заживают. Секретность моя – навсегда...

– Не говори ерунды, Фима! В таком случае, всё работающее население СССР обладает чрезвычайной секретностью.

– Правильно, Эдик! Оттого и граница на замке!..

Распрошались и пошли гулять. Ибо день был – суббота. Прошли Проспект Мира, где жил Эдик, до Сретенки, сели на троллейбус и добрались до улицы Горького. Пошли по ней вниз, а, может, вверх – как определить? – и оказались у «Космоса», популярного и действительно хорошего кафе-мороженого. Отстояли очередь, зато им достался столик на двоих.

– Тина, Эдик ведь говорил только о водке, верно? И ни слова о коньяке!

– Но водка звучала очень обобщающе. И мне нельзя пить.

– Ах, по каким же разным причинам нам нельзя пить! Как ты думаешь, кто у нас будет – мальчик или девочка?

– Как только рожу, немедленно сообщу тебе.

Они с великим удовольствием поглощали размещённые в никелированных чашах на увесистых ножках огромные шары мороженого «крем-брюле», красиво облитого жидким шоколадом и названного «Планетой».

– Фима, – робко начала Тина, – только ты не обижайся, этот проклятый лейтенант был ненастоящий, фантом, да? – а ты был настоящим Фимой, и, значит, ты по-настоящему согласился шпионить?

– Я думал об этом. Я знаю, что если бы мне по-настоящему предложили такие настоящие гебешники, я наверняка отказался бы. И не только потому, что во мне есть некоторое чувство порядочности, но и потому, что, с моей точки зрения, жизнь шпиона – сплошной кошмар. Это настолько не моё, что нет ни единого варианта, при котором я мог бы согласиться на это безумие. Значит, в ситуации разговора с этим гадом я был уже не самим собой. Я был в ином мире. В мире галлюцинаций. Если хочешь, моя встреча с лейтенантом была встречей двух призраков. А ты настолько сомневаешься во мне?

– Знаешь, я как будто копаюсь в самой себе. Ты – это часть меня. Я всё время вижу себя с этим лейтенантом. Я даже вижу, как он пристаёт ко мне. Я его ненавижу так, что не дай ему Бог встретиться со мной! Разорву его морду!

И Фима уткнулся чуть ли не до носа в своё мороженое. Он так был счастлив, что боялся поднять на жену своё залитое слезами лицо. И лишь услышал:

– Как же ты стал сентиментален!

Удивительная женщина! Приласкает, приголубит, до слёз доведёт и тут же ущипнёт, и пребольно...

– 5 –

Поразительно, но после отсутствия Фимы в течение восьми суток на работе в Театральном училище им. Щукина, «щукинке», его с должности плотника не выгнали! Когда на следующий день после отсидки он вяло постучался, в им же обитую роскошным дерматином дверь проректора училища по хозяйственной части и, услышав зычное приглашение хозяина, вошёл в кабинет, то увидел не свирепое лицо молодого, партийного, быстро растущего хозяйственника, а приветливую и даже задорную физиономию, обычно унылую от постоянного безделья.

Виктор Васильевич должность имел замечательную. Ему не нужно было вникать в хозяйственные проблемы руководимого им училища, ибо на всё имелись работники, непосредственно отвечающие за каждую мелочь. И эти работники – все без исключения! – всем сердцем любили училище и работу свою выполняли превосходно. Фима отвечал за выбитые стёкла в окнах, замки, поломанную мебель в классах и вырванные, как правило, с мясом, дверные ручки. За оборудование сцены и сценический реквизит отвечал пьяница Гена, проклинавший Сталина и писавший странные рассказы. Пил он зверски, но сцена была всегда в полном порядке. Фима ему иногда помогал. За электричество, водопровод и канализацию отвечал Сергей Сергеевич, тоже пьяница, но масштаба много меньшего, чем Гена. Если сравнивать человеческие руки с драгоценными металлами, то руки Сергея Сергеевича были платиновыми. Нико-

гда до встречи с ним и никогда после Фима не видел таких ловких, быстрых, умных рук. Был ещё Борис Исаевич, ответственный за закупку мебели и прочего, но он Фиму, Гену и Сергея Сергеевича заметно презирал, с ними не пил, да и появлялся в училище лишь в случае необходимости. Так что, должность Виктора Васильевича была совершенной синекурой, а также трамплином к высотам, от которых у него захватывало дыхание – например, должности заведующего хозяйственной частью самого театра им. Вахтангова, альма-матер училища.

– Ну, и как сиделось?

– Да не очень, Виктор Васильевич...

– Кормежка, небось, жуть?

– Жуть, Виктор Васильевич.

– Сидел со своими?

– С кем же ещё...

– Пришёл расчёт брать?

– Не хотелось бы...

– Ну, так завтра и выходи на работу! У меня тут стёкол поразбивали...

– Выходить на работу?! – Фима чуть не задохнулся от счастья.

– Но учти, шесть дней пойдут в счёт твоего отпуска. Ну и что, намекнули, когда отпустят тебя в Израиль?

– Какое там!..

И проректор, и Гена, и Сергей Сергеевич о Фиме знали всё. А Гена и Сергей Сергеевич, в особенности, обожали потолковать с Фимой о сионизме, о судьбах евреев СССР и не без Фиминого влияния к Израилю стали относиться снисходительно, с пониманием, а над арабами откровенно издевались.

Надо сказать, что Фиме вообще везло на «отказные» работы. Благодаря потрясшему дяде Коле, двоюродному брату его мамы, недавно вышедшему из тюрьмы, где он отсидел два года за хозяйственные грехи вверенной ему артели по производству спортивных номеров, пришиваемых к майкам легкоатлетов. Это дядей Колей сразу же после ухода из родного «ящика», Фима был внедрён на стадион «Локомотив» плотником, где и получил характеристику после собрания хозяйственного актива стадиона, для ведения которого Фима вынужден купил ящик водки.

А знаете, за что сел дядя Коля? Расскажем. Выпускаемые его артелью квадратики ткани, на которые затем наносились чёрной краской номера, были размером 20x20 сантиметров. А номера (трёхзначных не было) занимали площадь едва 12x12 сантиметров. И дядя Коля решил, что квадратики ткани вполне могут быть не 20x20, а 15x15 сантиметров. Сэкономленную же ткань дядя Коля продавал в определённый магазин, и вся артель кормилась за счёт дядиколиной инициативы. Просто и гениально, правда? Дядя Коля опередил советскую власть на двадцать с лишним лет! Результат – два года тюрьмы.

Следующим этапом плотнической деятельности Фимы стала фирма по обивке дверей «Заря», куда Фима устроился сам, по объявлению. Когда Фима представился начальнику цеха обивщиков, тот, не глядя на Фиму, спросил: «Шуруп от гвоздя отличишь?» Фима ответил, что даже знает, что гвоздь завинчивают отвёрткой, а шуруп забивают молотком. Оценив шутку, начальник громко крикнул: «Толя, поди сюда!», и от группы обивщиков, ждавших выдачи материалов для обивки, то есть дерматина, ваты и обивочных гвоздей, отделился коренастый, белобрысый, симпатичный мужичок, нехотя подошёл к столу и, не взглянув даже на Фиму, спросил: «Опять наставником?»

– Возьмёшь с собой, и чтоб через два дня он начал обивать самостоятельно. Понял?

– Семёныч, – занял Толя, – почему всегда я? Смотри, сколько ребят...

– Толя, – не обращая внимания на его нытьё, сказал Семёныч, – пойдёшь сегодня на улицу Горького, две двери. Вот тебе заказы.

– Во! Это дело! Тебя как звать? – наконец, обратился он к Фиме.

Семёныча любили все. За хорошие заказы, то есть, заказы в богатые районы Москвы, давали ему «на лапу»; все жалобы на обивщиков он умело не доводил до высокого начальства, заставляя свою команду быстро и бесплатно исправлять халтуру и, порой, даже возвращать клиентам несправедливым трудом заработанные деньги.

Толя был потрясающим обивщиком. Фима впитывал каждое его движение, и искреннее его восхищение Толиным мастерством привело к тесной дружбе. Жизненную цель Фимы Толя одобрял, живо интересовался Израилем и однажды произнёс: «И что будет с Россией, когда вы все уедете?»

При окладе обивщика в 80 рублей в месяц, Фима приносил домой ежедневно 20—30 рублей за счёт чаевых, левых дверей и, особенно, левых замков, которые Фима, обученный отныне неизменным напарником Толей, вставлял артистично.

Но это были не шальные деньги. Работа была тяжёлой, заканчивалась обычно только к пяти-шести часам вечера. Набрав утром ваты, дерматина и обивочных гвоздей на две двери и имея запас ещё на одну, левую дверь, обивщик с огромным рюкзаком начинал объезд квартир. Машины, естественны, не было, и посадка с набитым рюкзаком в общественный транспорт вызывала справедливый гнев граждан. Часто приходилось рюкзак с плеч сбрасывать и с большим усилием протаскивать его сквозь тела к выходу. Сама обивка двери казалась легче, чем доставка рюкзака на квартиру. И надо помнить, что в правой руке обивщика была тяжеленная сумка с инструментами.

Хорошо, когда надо было обить дверь в новой квартире – лёгкая, она слетала с крошечных петель одним движением обхвативших её рук. Но двери в старых домах, огромные, десятилетиями не снимаемые с огромных ржавых петель, могли свести с ума даже опытного обивщика. Поэтому приходилось таскать в сумке с инструментами и увесистую «фомку» – изогнутый ломик, без которого снять старую дверь с петель было невозможно. . . Домой Фима приходил измочаленным. Но были и лёгкие дни – когда на две-три недели Семёныч посылал обивщика на обивку дверей в большом, только что построенном доме. Туда завозился материал, там хранились инструменты и там было полно халтуры – в основном, врезка замков, наряды на которые не выписывались. Это была милая сердцу обивщика сцена: приходил к Семёнычу заказчик и заказывал обить дверь и врезать замок. И Семёныч, выписывая наряд на обивку двери всегда говорил: «А насчёт замка договоритесь на месте с обивщиком – кто его знает, что у вас за дверь и какой сложности замок». Ни один заказчик не возражал. Даже если он был старым коммунистом. Только с такими начальниками, как Семёныч, и можно было построить коммунизм. . .

Фима любил вечернее возвращение с работы домой. Тревожные, сочувственные мамы глаза («Слава Богу, вернулся! Сыночек, почему так поздно?») А Фима небрежно доставал из заднего кармана рабочих брюк не облагаемые налогом наличные деньги и вручал маме. Потом мама помогала стягивать с плеч сильно осевший рюкзак, в котором всегда оставалась сэкономленная на одну дверь вата, протягивала Фиме свежее нижнее бельё, и он медленно, расправляя уставшие члены, отправлялся в ванную, откуда выходил свежим, спокойным, готовым к принятию заслуженного, всегда вкусного ужина, во время которого мама с любовью смотрела на своего хорошо зарабатывавшего сына, с удовольствием выслушивая его рассказы, частенько выдуманные, о приключениях прошедшего дня

. . . Работа обивщиком не мешала «отказной» жизни – Фима успевал и на семинары, и на встречи с иностранцами, и даже участвовал в нескольких протестных акциях у Библиотеки им. Ленина и в приёмной Верховного Совета РСФСР. Проработал Фима обивщиком непрерывно целых четыре года – с 1977 по 1980 – и уволился сам, так как Семёныча выгнали, пришёл новый начальник, старый большевик, который поднял план до трёх дверей в день, тем самым не оставив обивщикам ни времени, ни сил на левую работу.

Следующим рабочим поприщем Фимы стал ресторан «Баку», в который он устроился по протекции опять же дяди Коли. 80 рублей в месяц плюс бесплатный и очень вкусный обед, сварганенный поварами-умельцами из хороших, почти нетронутых кусков мяса, оставленных на тарелках состоятельными клиентами. Из этого же мяса, с добавкой курдючного сала, семян кориандра, зиры и нескольких веточек кинзы, производилось немалое количество люля-кебаб, продаваемых утром по великому благу бомонду с улицы Горького. Работа была не пыльная – починка столов, стульев, дверей. Никакого дополнительного заработка не было. Зато спокойно пережил Московскую олимпиаду.

И вот что случилось за два дня до открытия Олимпиады. Чинил себе Фима стул, и вдруг прибежал инженер ресторана и нервно закричал ему:

– Быстро в жёлтый зал! Мгновенно! С инструментами!

Фима помчался вслед за инженером.

Влетел в зал и видит, что за одним из столов расположились двое упитанных, восточного типа людей, молодой переводчик в помятом костюме, почему-то похожий на чекиста, и директор. И никакой еды на столе. Просто сидели и ждали Фиму.

– Здравствуйте! – сказал Фима.

– Здравствуй, дорогой, – начал директор, – вот, товарищи пришли с просьбой повесить на этой стене портрет.

Только сейчас Фима увидел плоский прямоугольник, прислонённый к стене, завернутый в красивую узорную ткань.

– Эти товарищи, – директор показал широким жестом на обоих восточного типа людей, невольно охватив им и переводчика, – члены олимпийской делегации Палестины, принимающей участие в Олимпийских играх, и они будут столоваться у нас. Так что, – продолжал директор, – аккуратно повесь этот портрет, но в присутствии товарищей.

Директор поднялся. Сердечно попрощался со всеми и ушёл. А Фима остался в компании двух палестинцев, наверное, легкоатлетов, одного переводчика и инженера.

Один из палестинцев встал, молча и осторожно снял ткань с прямоугольника, потом достал из кармана белую, пушистую тряпицу и медленно, со вкусом протёр стекло и раму. И, приподняв, повернул к Фиме портрет Арафата.

Это был живописный портрет, а не фотография. Портрет в стиле социалистического реализма – молодежавый Арафат выглядел розовым и счастливым. В глазах его сверкали весёлые огоньки, а куфия была явно свежeweыстиранной. Великолепно была выписана цвета хаки рубашка. А небритость выглядела естественной и обычного омерзения не вызывала. Хороший был портрет. Яркий, сочный портрет человека, устремлённого в будущее. Размером, примерно, полтора метра на восемьдесят сантиметров. Фима даже грешным делом подумал, не Глазун ли, очень бывший тогда в моде художник, его писал.

Он подошёл к портрету, посмотрел на задник – всё в порядке, на заднике точно посередине торчала массивная медная петля, устроенная так, что наклон портрета осуществлялся автоматически. Фима решил, что восьмимиллиметрового дюбеля для этой сволочи хватит.

Работал он самозабвенно. Лестницу поддерживали оба террориста (или легкоатлета – Фима так и не выяснил). Электродрель пела от восторга. Дюбель, густо смазанный белым, густым клеем, вошёл в просверлённую Фимой дыру, как входит влюблённый в лоно своей возлюбленной, а мощный, новый шуруп, ввинченный в дюбель, довершил дело.

Он повесил портрет и долго любовался проделанной работой.

Инженер пожал ему руку.

Чекист куда-то позвонил.

Палестинцы угостили рахат-лукумом, очень свежим и вкусным.

Фима был горд и одновременно печален...

На следующий день спросил инженера, почему именно в ресторане «Баку» будет столоваться палестинская делегация?

– Ты хоть раз видел в нашем ресторане свинину?

А через два дня Фиму вызвал инженер и велел портрет снять, отнести его в кабинет директора, – «только аккуратно!» – а на освободившийся шуруп повесить нежный «Натюр-морт» выдающегося азербайджанского художника Фаика Агаева.

Что случилось с палестинцами? Почему они не бегали и не прыгали в Лужниках? Никто не знал. Иногда Фима думал, что как-то не так повесил товарища Арафата...

Но в 1982 году Фима был из ресторана изгнан, так как приехавший из Баку ревизор уведомил директора ресторана, что по законам Азербайджанской ССР, человек с высшим образованием не имеет права занимать должность рабочего. Видимо, поэтому на Центральном рынке Москвы, оккупированном азербайджанцами, не было ни одного продавца с высшим образованием. В общем, Фиму, к его великой печали, из ресторана изгнали. На прощание директор, симпатичный, уса́тый Ратмакуил Алабетисович, вручил Фиме увесистый кусок баранины и заявил о своей уверенности, что в Израиле Фима сможет, несмотря на высшее образование, работать плотником. Эта фраза несколько удивила Фиму, так как при заявлении о приёме на работу он об Израиле, естественно, не упоминал и уж точно ни с кем из работников ресторана на эту тему не разговаривал.

И вот тогда кто-то сказал ему, что видел объявление о том, что Театральному училищу им. Щукина требуется плотник...

...Потрясённый красотой и живостью несущихся по коридорам училища будущих корифеев сцены, Фима стоял перед дверью проректора по хозяйственной части и молился, чтобы тот взял его на работу. Фиме казалось, что он попал в храм искусства. Он уже видел себя постановщиком спектаклей, мудрым советчиком для студентов, любимцем училища, совершенно забыв о должности, которую он должен выпросить у проректора. Фима любил мечтать, и недаром друг Сенька часто называл его «Ефимом Маниловичем». Наконец, исцарапанная, неприглядная дверь кабинета открылась, и на пороге его возник Виктор Васильевич, проректор по хозяйственной части – молодой, высокий мужчина, с крепким, но ещё не выдающимся животом, со скупающим выражением маловыразительного лица.

– Прошу вас!

Он долго листал трудовую книжку Фимы и, наконец, строго заговорил:

– Вот, читаю: «младший научный сотрудник». Потом – «старший инженер». Потом – «исполняющий обязанности руководителя группы». И вдруг – плотник на стадионе, обивщик дверей фирмы «Заря», плотник в ресторане Баку... Как это понимать?

Ответ у Фимы был заранее подготовлен.

– Жизненные обстоятельства.

– Какие же?

– Надоела скучная, безденежная и бесперспективная работа в проектной организации.

– Хорошо зарабатывали обивщиком?

– Неплохо.

– Но у меня-то – гроши. Максимум семьдесят в месяц.

– Я всегда найду халтуру.

– А почему ушёл из обивки? – проректор неожиданно перешёл на «ты».

– Устал.

– А из ресторана?

– Бараниной пропах.

Проректор рассмеялся и неожиданно произнёс:

– А в Израиль, значит, не пускают... Так... Знаешь, что, поболтайся где-нибудь часок. Перекуси. А я обмозгую. Трудовая книжка пока останется у меня. Лады?

И через час Фима услышал незабываемое, наполнившее его гордостью и радостью: «Мне сказали, что плотником тебя взять можно».

И на следующее утро перед Фимой открылись врата училища...

Как уже упоминалось, работая обивщиком, Фима зарабатывал раз в десять больше простого советского инженера или младшего научного сотрудника. Перейдя на работу в ресторан, а затем в училище на чистую зарплату, Фима своего материального благополучия не потерял, ибо к этому времени стал «матёрым отказником», приобрёл некоторую популярность среди сочувствующих «отказному» движению иностранцев и оттого стал получать от них разнообразных подарков – от роскошных (по Фиминым понятиям) виски, крошечных магнитофонов и радиоприёмников, а однажды ему вручили японский фотоаппарат, стоимость которого по оценке комиссионного магазина, составила 1000 рублей, что равнялась годовой Фиминой зарплате. Мало того, тоскующие родители Фимы и Тины раз в полгода высылали посылку с обязательной в ней курткой из синтетической кожи, которые шли нарасхват. И не надо было стыдиться всего этого, ибо мечта чекистов, что голодные и оборванные «отказники» приползут к ним с протянутой рукой и ртами, отверстыми для просьб и извинений, с треском провалилась.

— 6 —

Одним из близких «отказных» друзей Фимы был Семён Блитман, Сенька, обладатель самоотверженной, боготворившей его мамы Доры Абрамовны, сына Кеши, избалованного пятилетнего «хулигана», красивой, пышнотелой, очень пышнотелой, зеленоглазой, всегда немного печальной жены Оли и уморительной болонки по имени Тяпа. Сенька, как и Фима, был «отказником», но всего лишь с пятилетним стажем, и одной из причин его «отказа» было то, что в бытность Сенька работал корреспондентом «Комсомольской правды», мотался по стране, ходил однажды в плавание на подводной лодке, посещал какие-то военные базы на Дальнем Востоке и так далее. В общем, был переполнен знаниями о чём-то. По словам Сеньки, та подводная лодка давно утонула, военные базы проданы Китаю, а его знаменитый фельетон «И я шагаю по Москве», написанный 10 лет тому назад о грязи на московских улицах, не найдёт сейчас даже самый квалифицированный шпион США. Но, как однажды заявил ему некий чин из его бывшей газеты, «работа корреспондента в „Комсомолке“ – это первый окоп; его можно покинуть только мёртвым».

– Из этого следует, – мрачно пошутил Сенька, – что перелёт из Москвы в Израиль в свинцовом гробу «Комсомолка» мне оплатит...

Но не только и не столько бывшая работа Сеньки держала семью в «отказе» – родители Оли категорически не давали своей дочери согласие на выезд из СССР, без чего власти автоматически штамповали «отказ». Отец, профессор, ненавидевший всё, что мешало его научной карьере, сначала умолял дочь уйти от никчемного, с его точки зрения, мужа, а потом и вовсе запретил пересекать порог его квартиры. «Я должен дать разрешение на уничтожение своей карьеры, будущего моей несчастной семьи и жизни собственной дочери? Никогда! И ни людской, ни Божий суд меня не осудит!» Мама Оли, профессорская жена, посвятившая талантливому мужу всю себя, была ещё категоричнее: «Ты не существуешь больше в моём сердце, у меня нет дочери, – сказала она Оле. – А разрешение на выезд в твой проклятый Израиль получишь после моей смерти!» Их пытались уговорить. Однажды, прослышав об этой чудовищной, с их точки зрения, истории, к ним пришли двое американских туристов, муж и жена, милые, пожилые люди, и когда мама Оли открыла дверь в прихожую, они увидели портрет Оли в траурной рамке. Ясно, что говорить было не о чем...

И это было страшнее подводной лодки... В то время существовала немалая группа людей, не получивших родительского или супружеского согласия на отъезд. Им даже присво-

или особое название – «бедные родственники». Разрешения на выезд «бедным родственникам» давали редко. Они завидовали «отказникам по режиму», предполагая, что секретность рано или поздно может быть с человека снята, но родительское или супружеское разрешение можно получить только после смерти родителей или (и) супруга.

А вот Сенька мрачным был редко. Прирождённый шутник, не жалея никого и самого себя в том числе, он сыпал шутками, неожиданными, остроумными, порой скабрёзными, порой неуместными, но, уловив, что перегнул палку, не стеснялся обзывать себя бранными словами и смачно целовал ручку жены, более всего боясь её гнева. А гнев её был, по-видимому, страшен, ибо едва она поднимала на разошедшегося мужа свои зелёные глаза, как он мгновенно умолкал, бормотал что-то нечленораздельное, получал прощение, но хватало его ненадолго, и через несколько минут всё возобновлялось. Фиму поражала вездесущая власть Оли над Сенькой. Она могла увлечённо болтать с кем-нибудь, стоя спиной к мужу, и вдруг спокойно произнести: «Сеня, поставь рюмку подальше от своей руки!» И Сенька немедленно отвечал: «Рыбонька, не волнуйся, я уже это сделал». Или, находясь на кухне, отделённой от салона стеной, Оля вдруг отчётливо произносила: «Ещё одна рюмка, и ты поедешь домой один!» И немедленно раздавалось в ответ: «Птичка моя, я уверяю тебя, что не собирался больше пить!»

А выпить Сенька, как и Фима, любил очень. Причём, у него это сопровождалось раз и навсегда установленным обрядом. Быстро выпивая первую рюмку (а рюмки, что у Сени, что у Фимы, вмещали в себя не менее 50 грамм водки), он зажмурился и произносил обязательное: «Хорошо пошла!». Вторую рюмку пил уже медленно и выпив, произносил: «Вот, и набрал форму». Третья рюмка, при благосклонном отношении к ней жены, сопровождалась неизменным: «Всем бы друзьям моим как мне сейчас!» До четвёртой рюмки дело доходило в ситуациях только чрезвычайных.

Как ни странно, особенно активным «отказником» Сенька не был. В самом начале «карьеры отказника» участвовал в голодовке вместе со знаменитым Феликсом Канделем, одним из авторов классического мультсериала «Ну, заяц, погоди!». Но потом остыл. Ни разу не ходил на демонстрации, письма подписывал, но, в основном, рядовые. Но везде крутился, все его знали. От постоянного его мелькания и говорливости создавалось впечатление активности, но никто в «отказе» глубиной и статистикой активности не занимался, оценок не выставлял, принимались все.

Фима однажды в подпитии всё же рискнул спросить Сеньку: «Не обижайся, но почему я не видел тебя ни на одной демонстрации?» Ответ потряс его: «Понимаешь, если со мной что-то случится, они обе умрут. И мама, и Оля. Сразу умрут. Я пленник такой любви и страха за меня, что являюсь самым несчастным из всех счастливых людей...» Фима, вспомнив, как иногда подталкивала его Тина к участию в демонстрации, в который раз восхитился бездонностью и загадочностью женской любви.

– Но ведь дали они тебе участвовать в голодовке?

– И с тех пор как ножом срезало. Я во время той голодовки похудел на 4 килограмма, а не голодавшая Оля – на десять, правда, потом быстро набрала, а мама просто летала по квартире. И я, в дополнение к голоду, умирал от страха за них. Мы – ненормальные...

И Сеня выпил незапланированную рюмку, несмотря на угрожающий взгляд жены.

– Дома поговорим, – сказала Оля.

– Кисуля, хоть иногда ты можешь быть снисходительной?

Зная несколько сотен простых слов на иврите, Сенька так умел манипулировать ими, что производил впечатление знатока. Вообще, слова были его главным достоянием, богатством, оружием. Говорить он мог без умолку, подкрепляя слова энергичной жестикуляцией и заглядыванием в глаза собеседнику. Он был всегда прав, ибо ко времени, когда он только начинал расходиться, соперник уже был полностью истощён. Впрочем, с таким же напором он мог при-

знаваться и в своей неправоте. Он много знал, был начитан, семьёй Фиминой любим, и Фима иногда с ужасом думал, что Сеньку отпустят раньше него.

— 7 —

Жизнь, после визита к Эдику и добросовестного приёма лекарства, наладилась. Тина полнела. Фима умильно разглядывал её живот и мысленно расставлял детскую мебель.

Не остановилась, но сильно преобразилась «отказная» жизнь. Демонстрации почти прекратились, зато пышным цветом расцвели «отказные» семинары. Разнообразие тем, представленных на них, было необыкновенно широким: наука, юриспруденция, история Израиля, иврит или просто интеллектуальный семинар, на котором можно было говорить о чём угодно. Интересно было всё, ибо выброшенные со своей инженерной и научной деятельности, «отказники», многим из которых было не под силу заниматься самообразованием, да что там самообразованием, просто следить за всем новым, что происходило в науке, жадно впитывали знания других, обогащаясь и обогащая. Одним из таких семинаров, обожаемых Фимой, был семинар под руководством генетика, профессора Валерия Николаевича Сойфера, многолетнего «отказника».

Валерий Николаевич был человек непростой. К еврейству имел отношение далеко не галахическое. У него было славное, почти курносое русское лицо, подвижное, способное с быстротой необыкновенной менять выражение крайнего и совершенно искреннего гнева на выражение полной дурашливости; высокий лоб с упрямо падающими на него прядями волос; светлые, всегда смеющиеся над собеседником глаза, что создавало в общении с ним немалые трудности. Мужчина он был рослый, стройный, с едва наметившимся, но не увеличивающимся животом, ибо за ним зорко следила молчаливая жена Нина, в прошлом, несомненно, красавица, сохранившая горячие глаза и стройную фигуру. Обоим ещё не было и пятидесяти.

Валерий Николаевич обладал феноменальной памятью, цитировал на память огромные куски прозы, обожал поэзию. Был дьявольски умен, напорист, насмешлив, победить его в споре было делом совершенно безнадёжным. Великолепен был в гнев. Когда он клеймил советскую власть за убийство любимого им Николая Ивановича Вавилова, великого русского генетика, голос его, высокий, пронзительный, дрожал от гнева и ненависти, заставляя даже равнодушных к той давней трагедии искренне сопереживать.

Генетика была пожизненной любовью, «сладостной казнью», как высокопарно любил выражаться Валерий Николаевич о своей профессии. Он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и физический факультет МГУ; до «отказа» работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, в Институте общей генетики. В 1970—1979 годах был заведующим лабораторией и заместителем директора Всесоюзного НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики, мало того, был одним из создателей этого института. Смущало реалиста Фиму то, что, при всех регалиях Валерия Николаевича, жил он в обычной трёхкомнатной кооперативной квартире, далеко не в престижном районе Москвы. Для Фимы понятие «профессор» обязательно сопровождалось хоромами, плывущей в них пышнотелой профессорской женой и остеклённым сервантом, заставленным богемским хрусталём. «Хоромы» же Валерия Николаевича были весьма скромны, жена не пышнотела, а хрусталь – из ближайшего посудного магазина.

У них бы сын Гена – рослый, не избалованный, пятнадцатилетний парень, целиком взявший у мамы её глаза.

Что мешало профессору Сойферу процветать в СССР? Конкретно – его горчайшее разочарование в руководстве отечественной наукой, удушающая науку бюрократия, коррупция,

антисемитизмом, бесчеловечность. Но более всего ему мешала клеть, в которой он жил. Клеть, душившая человека его масштаба. Он хотел ездить тогда, когда ему хотелось, туда, куда ему хотелось, мотаться по миру, удивлять и удивляться, работать только с теми учёными, работать с которыми он желал. Он рвался к свободе, и когда познакомился с еврейским движением, понял, что только оно может вытащить его из клетки. Диссидентство было ему мило, понятно, роднило его с такими людьми, как академик Сахаров, но Валерий Николаевич уже не ждал перемен в СССР, ему стало наплевать на СССР, хотя он искренне переживал за страну, измороженную большевиками; ему хотелось одного – вырваться на свободу. И еврейское движение, к которому он «пристроился», казалось ему единственным шансом обрести эту свободу.

Еврейское движение очень отличалось от диссидентского, которое, окрашенное кровью своих мучеников, то замирало, чуть ли не до исчезновения, то вспыхивало пламенем, освещавшим весь СССР. Запад с великой осторожностью относился к советским диссидентам, так как, в его наивном понимании, диссиденты хотели свергнуть советскую власть, а такие вещи, по мнению Запада, можно делать лишь путём честного, открытого голосования. Запад не понимал, что диссиденты не падения советской власти хотели (хотя и не отказались бы от такого поворота событий), а выполнения этой властью ею же установленных законов, ею же установленной Конституции. За это они боролись и умирали. А еврейское движение, у которого тоже были свои мученики, требовало только одного – выпустить евреев, причём, только тех, кто хотел этого, только тех, у кого были на руках вызовы родных, в Израиль. Только и всего! И такое движение Западу было доступно, ибо нормальный человек Запада не мог понять, как можно не выпускать из страны людей, особенно евреев, особенно в Израиль?! Евреев, переживших Катастрофу, не выпускать в Израиль?! Запад с ума сходил от такой несправедливости! И боролся за евреев всеми силами – от рядовых граждан до президентов. И поэтому еврейское движение не затихало в течение более тридцати лет, лишь иногда съёживаясь, но всегда распрямлялась, и, наконец, смело на своём пути всё, в том числе, и советскую власть.



Нина и Валерий Сойферы. 1985 год

К чести Валерия Николаевича, он не рядился сионистом, не скрывал ни от кого, что собирается в Америку, на демонстрации не ходил, но письма особо жёсткого, общечеловеческого содержания с удовольствием подписывал. Его оружием в борьбе за выезд были постоянные и многочисленные встречи с иностранцами, как правило, учёными высокого калибра

(отсюда – растущая его популярность на Западе), и, конечно, организованные им потрясающие семинары, ненавидимые гебешниками, дежурившими у его подъезда, а то и у дверей квартиры. На памяти Фимы они дважды срывали семинар, не пропустив к Валерию Николаевичу ни одного человека, о чём по «Голосу Америки» и было сообщено на следующий день.

Самые неистовые сионисты из еврейского движения справедливо считали Сойфера чужаком и куда больше диссидентом, чем еврейским «отказником». Но, конечно, не чурались его, сознавая общественную значимость Валерия Николаевича.

И очень любил Валерий Николаевич прихвастнуть. И собственной значимостью в области генетики, и знакомством и душевными разговорами почти со всеми великими советскими учёными-биологами; с самим академиком Лысенко имел честь беседовать и даже разубеждать того. Нет, нет, ни в коем случае он не был хвастуном; хвастун – это Хлестаков, всего лишь ловкое ничтожество; хвастовство Валерия Николаевича органично дополняло его натуру, оно не могло не быть, ибо таковым было его окружение, мало знакомое с его научными интересами, мало знающее историю генетики, окружение, обучаемое им, восторгавшееся им, прощающее ему маленькие слабости. Он хвастал оттого, что его бушующей натуре было тесно в «отказе»...

Отчего у Фимы сложились дружеские отношения с Валерием Николаевичем, Фима не понимал. Может, постоянно испытываемый Фимой восторг перед его интеллектом? Может, явное предпочтение диссидентских семинаров Сойфера всем остальным? Может, некая таинственная тяга одного человека к другому? Как бы то ни было, Сойферы с удовольствием посещали уютную Фимину квартирку, в которой часто собирались «отказники», вкусно евшие и немало пившие, благо, за руль почти никому из них садиться было не надо. Тина хозяйкой была потрясающей. Её готовка вызывала восторженное мычание Сеньки, изысканные комплименты Валерия Николаевича и завистливые шутки многих других. Надо добавить, что Валерий Николаевич с особой ласковостью относился к Тине; будучи много старше, он позволял себе на правах отечески любящего друга легко обнять ничуть не смущавшуюся Тину за плечики или чмокнуть в щёчку. Нина, глядя на вольности мужа, лишь чуть сужала свои прекрасные глаза и, наверное, шептала про себя: «Шалунишка ты мой любимый! Дома поговорим...»

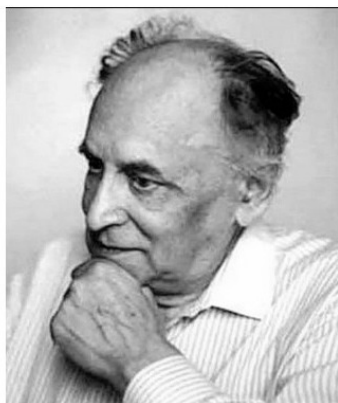
Вообще, в «отказном» движении резко выросли взаимные душевные порывы, выражавшиеся в объятиях и поцелуях. Целоваться при встречах стало правилом хорошего тона. А так как «отказные» еврейки, за немногим грустным исключением, были весьма симпатичны и в те годы ещё молоды, то тихий звон поцелуев невинным ангелом витал над евреями, благословляя их дружбу и единство в борьбе... Чемпионом поцелуев и объятий был, конечно, великий «отказник» Володя Слепак, в чьей бороде то и дело мелькали милovidные личики «отказниц».

Валерий Николаевич был (и не скрывал этого) верующим христианином, и страстным увлечением его в описываемое нами время была история Христовой плащаницы. С замиранием сердца участники семинара выслушали четыре его восторженные, блистательные лекции-рассказы о таинственной плащанице, вобравшей в себя контуры тела Христа. Гениальная подделка? Рисунок таинственными красками, сохранившими две тысячи лет чётко обозначенные линии? Или воистину чудо? Чудо – таков был вердикт Валерия Николаевича. Чудо, обусловленное бессилием науки доказать иное. Эти четыре семинара, посвящённые плащанице, произвели на Фиму такое впечатление, что он разразился большим стихотворением, названным «Плащаница» и посвящённым В. Н. Сойферу. С замиранием сердца он показал его Валерию Николаевичу. Тот был явно растроган, сказал, что до сих пор стихов, кроме шуточных, ему не посвящали, но о качестве стихотворения не вымолвил ни слова.

Однажды, ранней весной 1986 года, открывая очередной семинар, Валерий Николаевич во вступительном слове сказал: «Как ни странно, меня пригласили вчера на просмотр фильма о великом учёном Николае Ивановиче Вавилове, уничтоженном Советской властью. Трусливый фильм трусливых киношников, хотя многие, не побывавшие в нашей «отказной» шкуре, сочтут его необыкновенно смелым. После фильма состоялось обсуждение. Я не выступал, хотя,

ох, как хотелось, но дал слово профессору, пригласившему меня, не выступать. И пошла говорить известным учёным о перегибах, о непонимании, хер знает, о чём ещё. Я уже собирался тихонько выскользнуть из зала, как вдруг объявили, что слово предоставляется Владимиру Павловичу Эфроимсону, выдающемуся генетику, автору потрясающих книг: «Генетика гениальности», «Генетика этики и эстетики», дважды узнику ГУЛАГа – в 30-х и 50-х годах. Я хорошо его знаю. Я провёл много счастливых минут в беседах с ним.

И вышел на сцену чуть согнувшийся старик с огромным лбом, казалось, захватившим всю голову, с растрёпанными остатками волос... Нет, господа, он не говорил, а гвоздил советскую власть, пощёчина за пощёчиной, проклятие за проклятием. Сколько жив, я не слышал такой пылающей речи, такой страшной правды. И я запомнил, слово в слово: «Авторы фильма скромно сказали – „погиб в Саратовской тюрьме“... Он не погиб. Он – сдох! Сдох как собака. Сдох от пеллагры – болезни, которая вызывается абсолютным, запредельным истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки. Наверное, многие из вас видели таких собак зимой на канализационных люках. Так вот: великий ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох, как собака в саратовской тюрьме. И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помнили это...» И ещё он сказал: «Палачи, которые правили нашей страной, не наказаны. За собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, за собачью смерть миллионов, умерших от голода крестьян и сотен тысяч военнопленных, за все эти смерти ещё не упал ни один волос с головы ни одного из палачей, и поэтому никто из нас не застрахован от повторения пройденного. Пока на смену партократии у руководства государства не встанут люди, отвечающие за каждый свой поступок, за каждое свое слово, наша страна будет страной рабов, страной, представляющей чудовищный урок всему миру. Я призываю вас – помните о том, что я сказал вам сегодня. Помните! Помните!»



В. П. Эфраимсон

Глаза Валерия Николаевича были полны слёз. Он извинился за задержку семинара, объявил тему, фамилию докладчика и ушёл на кухню. Скоро вернулся, но весь вечер был грустным. Он в это время писал книгу под названием «Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР».

А назавтра весь рабочий день Фима ходил, поводя бессмысленным взором по стенам училища, бормотал себе под нос, что-то записывал в маленький блокнот, залепил молотком по пальцу, привинтил к стулу разные ножки и чуть не выпал из окна, вставляя новое стекло в оконную раму, но вернувшись, домой, бросился к столу и лихорадочно, почти без помарок записал стихотворение, высоко названное им «Баллада о гене». Тине стихотворение понравилось очень.

На ближайшем семинаре, Валерий Николаевич, прочтя «Балладу о гене», обнял Фиму и сказал:

– Я счастлив, что у меня есть такой благодарный слушатель!

Но в глазах его сверкала смешинка.

Книгу Валерия Николаевича «Арифметика наследственности», изданную в далёком 1970 году, подаренную Фиме автором и сопровождаемую дарственной: «Другу, верному и талантливому», Фима хранил в книжном шкафу на видном месте и часто, с трудом сохраняя на своём лице выражение равнодушное, показывал своим гостям.

– 8 –

Одним из самых дорогих, но, увы, редких гостей сойферовских семинаров был поэт Семён Израилевич Липкин, всегда сопровождаемой женой – поэтессой Инной Львовной Лиснянской. Ему всегда выделялось глубокое кресло, которое притаскивал из кабинета отца Гена. Кресло ставилось рядом со стулом очередного докладчика, всегда слева от него, Семён Израилевич, тяжело кряхтя, уютно устраивался в нём, и, таким образом, все могли смотреть на Липкина, а он внимательно смотрел на всех. Рядом с ним пристраивалась Инна Львовна. На обыкновенном стуле. Это отнюдь не было семейной иерархией – в это время Семён Липкин чувствовал себя скверно – через год его прооперировал блестящий хирург, профессор В. Б. Александров, вернувший поэта к жизни.

Липкин был чрезвычайно малого роста, толстенький, с усиками на худощавом лице, с невыразительными, тусклыми глазами. Но это до того, как он улыбался, ибо улыбка его, к сожалению, редкая, была такой детской, такой нежной и одновременно озорной, что он становился неузнаваем, как прежде тусклый в оправе драгоценный камень, на который неожиданно падал яркий свет.

Говорил он тихим, высоким голосом, но когда говорил, вокруг воцарялась такая тишина, что каждое его слово было слышно отчётливо.

Более всего в часы пребывания Липкина и Лиснянской на семинаре доставалось докладчику. Какого бы ранга докладчик не был, при виде двух легендарных мэтров поэзии, он тушевался, считал своим долгом промямлить приветствие и продемонстрировать своё перед ними преклонение. Однажды Семён Израилевич, видя особо сильное смущение докладчика – а это был профессор-астроном, доктор всяческих наук, – взмолился, обращаясь к Валерию Николаевичу: «Отнесите меня куда-нибудь! Я оттуда послушаю». На что галантный профессор-астроном возразил: «Лучше отнести меня, и я буду спокойно рассказывать оттуда». Разрядил обстановку дружный, добродушный смех всей аудитории.

Поэты, если и появлялись на семинаре, то, как правило, на докладах характера гуманитарного. Выслушивали доклады молча. Когда докладчик пил воду или вытирал пот, о чём-то перешёптывались друг с другом. По правилам семинара, установленным Валерием Николаевичем, доклад мог длиться не более полутора часов, но обсуждение доклада – сколько угодно. Поэты на обсуждения не оставались. Нина вызывала такси, кто-нибудь обязательно спускался с ними на лифте, сажал в машину и удостоверившись, что машина тронулась с места, возвращался в квартиру, и «освобожденные» семинаристы начинали вить из докладчика верёвку.

– Семён Израилевич, задайте хоть однажды вопрос докладчику! – съязвил как-то Валерий Николаевич.

– Я бы с удовольствием, – тихо отвечал Липкин. – Но уважаемый докладчик так всё хорошо объяснил, что у меня нет ни единого вопроса.

– И вы поверили ему, что наша вселенная сотворена Высшим разумом? – настаивал Валерий Николаевич

– Честно говоря, я не сомневался в этом и раньше. И более всего убеждают в этом поэты.

И продекламировал тихо, с хрипотцой, без выражения:

*Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.*

– Это ваше? – спросил кто-то.

– Нет, – Липкин улыбнулся. – Таких стихов я писать не умею. Это написал хороший русский поэт Иван Саввич Никитин, лет, я думаю, 150 тому назад.

Спросивший густо покраснел, ибо в одном вопросе показал не только незнание творчества Липкина, но и незнание русской поэзии в целом. Дома Фима признался жене, что его просто опередили с этим вопросом.

Однажды Валерий Николаевич потребовал и от Фимы прочесть доклад о чем-нибудь интересном («Нехрена только слушать! Пора и выступить!»), и Фима решил поведать «высокому собранию» о хорошо известных ему проблемах загрязнения рек отходами химических предприятий. Две недели он готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. И день настал. Фима пришёл за полчаса до лекции. С рулоном ватмана, на котором была начерчена принципиальная схема очистки сточных вод химических предприятий. С шестью исписанными листами. Тина села в первый ряд, чтобы он мог смотреть только на неё. По договорённости, она должна была приветливо кивать ему и иногда широко раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Фима прокашлялся. И... вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! За что это Фиме? Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов посадили на их законные места, и Фима начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Он громко и уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. Он чуть не плакал, рассказывая о судьбе Волги, Оки и озера Байкал, на берегу которого дымит огромный целлюлозно-бумажный комбинат. А рассказывая о массовом отравлении осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, Фима вдруг оторвал глаза от восторженного личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Семёну Липкину:

– Вы представляете себе тысячи и тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, безвольно носимых течением?..

На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил:

– Скажу честно – с большим трудом.

И виновато улыбнулся.

Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и Фимину жену. Тем не менее, закончил свой доклад Фима под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к выходу.

– Семён Израилевич, – вдруг вырвалось у Фимы, – вам было интересно?

– Мне было чрезвычайно интересно.

– И у вас нет вопросов?

– Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам спасибо за рассказ.

А Инна Львовна подошла к Фиме и сказала:

– Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражали свою тревогу за судьбу русских рек.

Поэты ушли, и Фиму немедленно стали «рвать на части». Тина перестала улыбаться, с сочувствием глядя на отчаянно сражавшегося мужа, но все разошлись, весьма довольные.

– 9 –

И наступил день выступления поэтов...

От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд боролись интеллигентно, но ожесточённо. Когда Липкин и Лиснянская сели лицом к импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.

– Мы сделаем так, – сказал Семён Израилевич, – мы не будем рассказывать о нашем творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна?

Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал её тесёмки.

– У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что и в прозе, да и не все свои стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.

– Господа, – громко провозгласил Валерий Николаевич. – Прошу задавать вопросы в чёткой и краткой форме, не выпендриваться, не вступать в ответы, не дискутировать или спорить с докладчиками – они умнее всех нас, вместе взятых. Порядок вопросов буду устанавливать я. Вперёд, господа. Насладимся этим часом. Но, прежде всего, Семён Израилевич, расскажите, пожалуйста, о себе.

– В двух словах... Родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным не православным мальчиком, поступившим, а потом и ставшим учеником казенной гимназии. Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о Вещем Олеге». Я знал ее всю наизусть и знал даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал и был достаточно смыслённым. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил я, и дорога в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили «пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на каком языке говорили хазары?

Ответом было гробовое молчание.

– До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня экзаменовавший меня историк.

Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. Едва ли не в первом стихотворении он заподозрил плагиат: «Последние две строки вы спёрли у Гумилева». Я сказал, что вообще не знаю такого поэта. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» ответил:

«Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто из них мне больше нравится, не раздумывая, ответил: «Багрицкий... Он о море хорошо пишет и очень звучно...» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я». По его совету я в 1929 году уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года – перестали. Чем-то я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил Московский инженерно-экономический институт. Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма – «Техник-интендант». Название это придумал Гроссман...

Самое важное в моей жизни – встречи. Я беседовал действительно со многими великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня... Если хотите, два слова о Михоэлсе... С Михоэлсом меня познакомил поэт Галкин. Мы дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов самым крупным. И сейчас так считаю. И мы с Галкиным были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в этакой русской театральной манере. У него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Мы говорили о том, о сём, и я его спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа... Вспомнил ещё... У Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» – о человеке, который перенес войну. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-м году, то есть, до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.

Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:

– С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс называл любовь Гроссмана к еврейским кушаньям «гастрономическим патриотизмом».

Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.

Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили об «Учителе». Я краем уха слышал. Гроссман спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей». Больше живым его не видели...

Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана – от рук убийц. То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.

Липкин замолчал, проглотил подступившие рыдания, высморкался – беззастенчиво, шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:

– Гроссман был – да простится мне столь затасканное выражение – кристальной чистоты человеком. Ничто мелкое, тем более гадкое, не приставало к нему. Однажды, со слов Багрицкого, я рассказал ему, что Бабель произнёс: «Я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман любил Бабеля, и сказал мне на это: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он – умница, талант необычайный, высокая душа – произнёс эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Почему таких необыкновенных людей, как он,

Маяковский, Багрицкий, так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы, власти? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное». Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:

*Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом – корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвою,
Грядущее жаждет бывшего,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.*

Был я знаком и с Булгаковым, знакомство произошло в редакции «Недра», где мне сообщили, что по цензурным соображениям мои стихи редакцией не приняты. Вышел я расстроенный из кабинета редактора и увидел в приёмной человека с лицом каким-то не советским, красивым, значительным, что ли. Он был в мятом, кургузом пиджаке, накрахмаленной бело-снежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потёртыми краями виднелись старорезимные твёрдые манжеты. Взглянув на меня, он с улыбкой произнёс: «Выше голову, мой юный пиит! Вы начинаете в лучших русских традициях!» Затем Булгаков великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актёра. Надо было сесть на трамвай. И мы прождали не менее получаса, пока он, грохоча по рельсам, не прибыл на нашу остановку. И именно в этот миг, при мне, родилась у Михаила Афанасьевича, ставшая затем знаменитой, фраза: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят». Гроссман, воспринимавший Булгакова, как чудо русской литературы, обожал эту фразу и любил её повторять, благо поводов к этому было сколько угодно.

Чудо русской литературы... Воистину – Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, Гроссман, «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности и честность истинного таланта оказались сильнее дьявольской мощи большевизма.

Да... Ну, вернусь к себе любимому... Надо было на что-то жить, и я занялся переводами. И неожиданно это стало огромной частью моей творческой жизни. Я действительно много перевёл. Киргизов, кабардинцев, бурят, индусов, поэмы Алишера Навои, Фирдоуси и другие. Я надеюсь, что хотя бы немного мне удалось передать очарование восточной поэзии, вообще Востока...

О, как балдеет чужестранец

*В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.
О, как звенят ее движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.
А там, за этим садом звездным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их дыханье грозном:
– Вы тоже станете песками.*

Переводил с идиша Галкина и Маркиша.

В 1967 году чёрт меня попутал прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. И среди создателей этого эпоса был народ, чьё название меня просто поразило: «И». Вот так просто, одной буквой был обозначен целый народ. И я написал стихотворение «Союз», с не слишком оригинальной мыслью, что даже маленькое племя вносит свой вклад в человеческую культуру, что истребление или просто исчезновение даже крошечного человеческого племени – невосполнимая рана всего человечества. И всего-то! Послушайте:

*Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однбуквенных слов, однозвучных.*

*Есть одно – и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.*

*В нем тревоги твои и мои,
В этом «и» – наш союз и подспорье...
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.*

*Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятие
Состраданья, бесстрашья, добра,*

*И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.*

*И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, – тем сильней и всемирней, —
Вместе с ней о себе говорю.*

*Без союзов словарь немеет,
И я знаю: сойдет с колеи.
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.*

И меня немедленно обвинили... в сионизме. За что? Любой синолог знает об этом народе! Кому пришло в голову, что это стихотворение посвящено иудеям? Евреи молятся в кумирне? Ничего не помогло. С того дня я – сионист.

Меня по сей день старательно выпихивают из страны, однако вне этой земли я немедленно умру.

*Ты Господом мне завещана,
Как трон и венец – королю,
На русском, родном, – ты женищина,
На русском тебя восхваляю.
Не знаю, что с нами станется.
Но будем всегда вдвоем,
Я избран тобой, избранница,
Провозглашен королем.
Светлеет жильё оседлое
Кочевника-короля.
Ты – небо мое пресветлое,
Возлюбленная Земля.*

Но до чего же хочется повидать мир!.. И особенно – Израиль.

– Семён Израилевич, почему не вы отнесли Войновичу копию романа Гроссмана «Судьба и жизнь», а Инна Львовна?

– Это была вторая попытка передать роман на Запад. Первая кончилась неудачей – роман не напечатали. Видимо, был выбран неудачный адресат, кроме того, Войновичу передал роман я, что, по-видимому, явилось второй причиной неудачи – я очень невезучий человек. Вообще, я чрезвычайно не гожусь для таких дел – мог бы взять вместо рукописи какую-либо книгу, взяв рукопись – оставить её в такси, забрав из такси – забыть передать её Войновичу и так далее. Кроме того, за мной могла быть слежка. Они были осведомлены о моей дружбе с Гроссманом. А Инна Львовна – прирождённая подпольщица.

– Семён Израилевич, а можно ли составить градацию поэтов по их общественной значимости?

– Я не очень понимаю, что такое «общественная значимость» поэта. Это вроде того, как «декабристы разбудили Ленина»? И ещё меньше понимаю, как она может быть связана с талантом поэта. По моему опыту, к общественной значимости рвутся поэты наименее даровитые или променявшие свой дар на эту самую общественную значимость, всегда у нас связанную с общественными благами. Так, творчество Евгения Евтушенко, кроме дивных ранних стихов, сейчас, поставленное на службу обществу, превратилось в огромную фабрику по воспроизводству самого себя.

Осип Мандельштам – гениальный поэт. При жизни его общественная значимость равнялась нулю. Едва видя знакомого, он бросался к нему, чтобы прочесть стихи. Половина знакомых не понимала их. Другая половина испуганно шарахалась от него, включая Бориса Пастернака. Потом Мандельштама сгноили в лагере. И если случится, что в неясном будущем его «реабilitируют», люди узнают его судьбу и прочтут его стихи, станет это общественно зна-

чимым событием? Сомневаюсь... Вот вам и общественная значимость гения. Сам он говорил о своей поэзии так: «утеха для друзей и для врагов – смола». Истинные поэты часто являются предвестниками общественных бурь и не влияя на их развитие, как правило, гибнут в них – Блок, Маяковский, Мандельштам, Цветаева... Другое дело, когда творчество поэта может, независимо от его стремления, стать общественно значимым. Но это происходит чрезвычайно редко.

– Например?

– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.

– А Маяковский?

– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:

*Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.*

И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:

– И в этом отличие поэзии от прозы.

– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.

– Какие у вас были отношения с Мандельштамом?

– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.

– Он был хоть немного евреем?

– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».

Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым...»

И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»

– А каковы были ваши отношения с Ахматовой?

– С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу – поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах

у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта – самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью – она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.

– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?

– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспыхнул: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.

Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, ввали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался... А потом жестоко корил себя и писал:

*Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывает другому.*

Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «...всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовой Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:

«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, как видите, компании.

Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».

Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной

«Курортной газеты» – как вам нравится этот орган печати? – и оставил там следующее заявление:

«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».

Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существовании советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».

Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился – в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:

*А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, чтоб любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы Родину поставили под свист?*

Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»

Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала... Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:

*На собраньи целый день сидела —
то голосовала, то лгала...
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?*

Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема...

– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?

– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно... Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа... Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал... Никто не читал...

Глаза его стали грустными.

– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:

*Тропой концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,*

*По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям*

*Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газoven
В неопалимой купине.*

Кстати, среди всякой глупости партийных критиков есть и такой: богоискательство. Видимо, этот ярлык был предназначен прежде всего Инне Лиснянской. Хорошо бы знать этим ярлыковедом, что поэт – я имею в виду истинного поэта – испокон веков занят такого рода исканием, испокон веков тяготеет к трансцендентности, даже в том случае, если считает себя атеистом. По пути таких исканий направили русскую поэзию Ломоносов и Державин, мы видим на этом пути и Бунина, и Блока, и Есенина, и Мандельштама, и Пастернака. Сама просодия русского стиха, как и просодия стиха латинского или древнееврейского, молитвенная. Изменить или разрушить её невозможно, как ни старайся.

Возвращаясь к моему еврейству. Тора была для меня не только книгой, но и самой жизнью. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные власти, но эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем – терпеть всего этого не мог. Я был просто верующим мальчиком. И я, прожив жизнь, думаю, что, на самом деле, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры – понимание, что все мы – люди, и потому люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир.

*Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодхисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.*

Но я знаю и то, что такого понимания люди могут достичь лишь после прихода Мессии. С другой стороны, мне труднее быть больше евреем, чем, простите за высокопарность, интернационалистом, оттого, что я – русский поэт, иудей по вероисповеданию, переводчик восточного эпоса, человек нескольких культурных традиций... Кроме того, я вырос в многонациональном городе. И так получилось, что несколько мальчиков и девочек разных конфессий подружились на том основании, что они веровали в Бога. Мы не спорили, какая религия лучше. Наоборот, мы были очень сплочены. Среди нас был мальчик армянин, девочка армянка, девочка католичка, два мальчика православных, девочка православная и два еврея. Вот такая компания. Сейчас это трудно себе представить, но в Одессе такое было возможно... Во всех религиях главное то, что мы произошли не от обезьяны, и то, что Бог существует. Есть близкие религии, есть далёкие. Но основа-то всюду одна. И всё-таки...

*Я хочу умереть в июле,
На заре московского дня.
Посреди Рахилей и Шмулей
Пусть положат в землю меня.*

*Я скажу им тихо: «Смотрите,
Вот я жил, и вот я погас.
Не на идшие, не на иврите
Я писал, но писал и о вас.
И когда возле мамы лягу,
Вы сойдите с плит гробовых
И не рвите мою бумагу, —
Есть на ней два-три слова живых.*

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия – Ветхий и Новый заветы, «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?

О вере мы постоянно спорили с Василием Гроссманом. Однажды он обмолвился о роли комиссаров в победе над фашизмом. И я ответил ему: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Я верил в это тогда и верю сейчас. Как и в то, что Бог вселился в народ Израиля, уже трижды победившего чудовище, тысячекратно превосходящее его по размерам.

– Пожалуйста, почитайте ещё...

– Вот, пожалуй:

*К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?*

*Вы ответьте, – прошу я немного:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?*

*Или гибелью вас осчастливили,
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?*

– Ещё, ещё, пожалуйста!

Липкин улыбнулся:

– Ну, вот и слава пришла...

*Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;*

*Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: Вера.*

*В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И всё же купиной
Неопалимой светим и пылаем.*

*И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжёт пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.*

– Ещё, пожалуйста...

– Господа, я немного устал, да пора и честь знать. Поэтому я прочту последнее, совсем недавнее:

*Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?*

*О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,*

*Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...*

Семинар долго и нежно аплодировал.

Липкин, уже в позе отдыхающего человека, возвёл руки к потолку:

– Великое вам спасибо – самым искренним и терпеливым слушателям!

– 10 —

Инна Львовна наклонилась к Липкину, что-то шепнула ему на ухо и, грозно глянув на притихших слушателей, громко приказала:

– Оставьте в покое Липкина! Можете взяться за меня!

– Инна Львовна, а как вы познакомились с Липкиным?

– Как обычно знакомятся литераторы – в Доме творчества в Малеевке. Случилось это в 1967 году. Там же познакомилась и с Василием Гроссманом. Что я знала о Липкине? Переводчик. Хороший, но бедный. Но однажды, в одной из дальних комнат Дома творчества собрались поэты почитать друг другу стихи. Вещь, вообще-то, для поэта не безопасная, ибо какой же поэт любит стихи другого? Настала очередь Липкина. И я пропала. С этого дня мы не расстаёмся. А ведь у каждого из нас была семья. Но всё, что мог подарить мне муж – скуку. А Семён Израилевич – бесконечную радость и непреходящее вдохновение. Когда он заболел, я кричала:

*Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я – легкомысленное существо,*

И Ты меня в ад отправь.

*Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу!
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем вить на его гробу.*

*Молю Тебя, Господи, слезно молю!
Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем Твою любовь.*

Кстати, в сем высокоморальном обществе, в котором я сейчас нахожусь, могу, не стесняясь, объявить – мы до сих пор не расписаны.

– О чём говорят в быту два выдающихся поэта?

– О стихах, милочка.

– Трудно жить рядом с выдающимся поэтом?

И тотчас ответил Семён Израилевич:

– Нет!

Все дружно рассмеялись.

– Ну, кому ещё доступно такое рыцарство? Но и я отвечу. Действительно, с Семёном Израилевичем жить легко. Он в быту на редкость неприхотлив, совершенно не капризен в еде, я никогда не слышала от него, что что-либо невкусно. Единственное, в чем Семен Израилевич неуступчив, – это в точном соблюдении распорядка дня. С девяти утра до часу он работает ежедневно. Тут он крайне педантичен. И ждёт того же от меня. Это единственная моя трудность, ибо я разболтана, недисциплинирована и вечно жду вдохновения.

– Простите, но бывает, что вы ссоритесь?

– Конечно, милочка. Я, например, не так высоко ставлю Заболоцкого, как Семён Израилевич. (Смех) Друзья мои, а не хотите ли вы знать, какие цветы любит Липкин? Каких художников? От какой еды у него случается несварение желудка? Друзья мои, я не только жена Липкина, я тоже, в некотором смысле, пишу стихи.

– Простите эту толпу, – вмешался Валерий Николаевич. – И раздавите её своими стихами!

– Инна Львовна, расскажите о себе!

– Родилась я страшно давно – в 1927 году, в Баку. Стихи начала писать, кажется, с шестимесячного возраста. Будучи в пятом классе, помогала медсёстрам ухаживать за ранеными в госпитале. Пела раненым песни.

*Сердце на 118 долек
Здесь разрывалось, – девочка пела
В зале на 118 коек.*

Это был госпиталь лицевых ранений, один из самых страшных, ибо раненый никогда не знал, что останется из его лица, каким оно будет:

*От дальних бомб дрожали рамы.
И, красные до черноты,
Из всех бинтов сочились раны,
И я меняла те бинты...*



Инна Львовна Лиснянская. 1985 год

– После школы друзья отправили мои стихи в Литинститут. Они легко прошли творческий конкурс. Но от сдачи вступительных экзаменов я отказалась.

– Почему?!

– Сдавать математику и английский, чтобы учиться по-русски писать стихи?! Но всё-таки год поучилась в Бакинском университете – заставили. Первый сборник вышел в Баку в 1957 году. В 1961 году переехала в Москву. И здесь по-настоящему ощутила на своей шее сучьи лапы цензуры. Над книгой стихов «Из первых уст» – она вышла в свет в 1961 году – надругались так, что мне и сейчас стыдно за неё. А следующая книга «Виноградный свет» вышла только в 1978 году. И не единого отклика в печати. Потом семь моих стихотворений появились в неподцензурном «Метрополе», и, конечно, разразился скандал...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.